

# МИХАИЛ ЩУКИН

ОИБІРІАДА

Грань



Сибиряда

Михаил Щукин

**Грань**

«ВЕЧЕ»

2015

**Щукин М. Н.**

Грань / М. Н. Щукин — «ВЕЧЕ», 2015 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8692-4

Не думал, не гадал старатель Степан Берестов, что когда-нибудь его беспутная жизнь повернется другой гранью. Полтора десятка лет без малого носило его по бескрайним сибирским просторам, в какую только глухомань не забирался, чего только не творил – и хорошего, и не очень. Но вот однажды, после очередного сезона на приисках, добравшись до «Большой земли» и устроив «отходную» по-старательски, Степан едва жив остался и вдруг понял, что девушка, спасшая его от налетчиков, – это его шанс начать все сначала... Новый захватывающий роман от мастера сибирской прозы!

ISBN 978-5-4444-8692-4

© Щукин М. Н., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

## Содержание

Глава первая	7
1	7
2	15
3	18
4	20
5	23
Глава вторая	26
1	26
2	30
3	35
4	38
Глава третья	42
1	42
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Михаил Николаевич Щукин

## Грань

© Щукин М.Н., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

«Убивают, убивают...»

На миг распахнул Степан зажмуренные от боли и страха глаза, увидел затухающим взглядом крупную ягоду ежевики с набрякшей дождевой каплей и выгнулся от удара, успев услышать тупой хряск. Капля сорвалась и беззвучно канула, ягода дрогнула, расплылась красным пятном, в которое окунулся и сам Степан, в горячую соль собственной крови. Больше ничего не видел, не слышал, только чуял краешком угасающего сознания тугие толчки, которые вминали в землю неподвластное теперь ему тело. Не шевелился, не подавал голоса, а его били и били до тех пор, пока не уверились, что ему никогда не подняться. Напоследок плюнули в размочаленное лицо и ушли.

Истаял день, потух вечер, и наступила ночь. Дождь кончился. Пустые тучи скатились с неба, и на черной реке заблестели звезды. Долгий, надсадный гудок баржи-самоходки распугал тишину, грузно прокатился по макушкам прибрежных ветел, истратил отпущенную силу, тихо соскользнул вниз. Степан застонал и ощутил под собой твердую землю. От нее шел острый холодок, насквозь пронизывал разбитое тело. Глухой стук самоходки быстро скатывался вниз по течению, скоро он затерялся, и Степан остался в густой темноте, посреди звенящей тишины...

Зыбко покачиваясь, выплыли из-за деревьев две темные тени, вплотную придвинулись и закрыли небо. На лицо Степану легла чернота. Он сразу догадался – чьи это тени. Самих людей не было, они были далеко, а тени их приползли, чтобы наконец-то увидеть его таким – беспомощным, вбитым в землю. «Как коршуны, – подумал Степан. – Слетелись...»

Тени, помаячив, налюбовавшись, исчезли. Степан снова остался один. Ни на что не надеялся, не ждал помощи, только напрягал глаза и смотрел пристальней. Вдруг в неувловимый момент небо стало опускаться. Становилось близким и казалось досягаемым. Таким, что протяни руку – и притронешься к звездам, ощутишь на ладони их теплоту. Но он не мог даже пошевелиться. А звезды мигали, двигались и притягивали к себе. Плавно изгибалась ручка ковша Большой Медведицы, серебрился, раскидывая вокруг искрящуюся пыль, Млечный Путь, звал, обещая увести в неведомые дали и выси. Надеясь избавиться от раздирающей боли, думая, что придет облегчение, Степан согласно отозвался на зов. Боль исчезла. Охватила невесомая легкость, и он тихо, плавно стал подниматься. Земля оставалась внизу. На середине пути между ней и небом его мягко развернуло, и он стал двигаться медленными, широкими кругами, как птица, неподвижно раскинувшая крылья. Полз такой же острый холодок, как и от земли. Степану не удавалось ни долететь, ни опуститься, и на смену возникшей было легкости приходило тревожное ожидание. Росло, давило и становилось во много крат невыносимей, чем телесная боль.

«Что это? Куда я? Зачем?»

Тонкий, горячий свет пронзил темноту, разрезал ее бесшумно и неувловимо и ринулся вниз, расширяясь до бесконечности; одновременно видел Степан темно-фиолетовое небо над головой и внизу – неохватную земную ширь. Знакомая до последнего изгиба, текла между берегами река, деревня вольно раскидывала свои дома, и на самом ее краю, в конце узкого переулочка, стоял под железной зеленой крышей дом Степана.

«Как все это без меня останется? Надо туда, вниз!»

Но его продолжало нести широкими кругами на одной и той же высоте, и по-прежнему внизу был день, аверху – ночь. Холодный воздух упруго прокатывался по лицу. Тонкий, трепещущий свет двигался теперь вместе с ним, пересекая насквозь одежду, тело и прожитую жизнь, которая оставалась внизу и, озаренная, виделась памятью до последнего дня. Тяжесть давила, казалось, она останется с ним навечно и будет маять душу либо здесь, либо еще в каком другом месте. Она давила все жестче и требовала ответа. Степан испугался – ответа у него не было. Сквозь дымку ухватил взглядом зеленую крышу своего дома и безмолвно выдохнул: «Я мало жил, я поздно начал жить, я не успел...»

Крыша дома плотно задернулась дымкой, свет сузился до малой полоски, ярко закипел и опрокинулся в распахнутые глаза. Степана тряхнуло и отвесно понесло вверх, в неведомую, запредельную высь, из которой струился, не иссякая, белый, кипящий луч...

## Глава первая

### 1

Голые макушки каменного развала были гладко вылизаны ветрами и глухо чернели, как брызги дегтя. А вокруг – белизна. Белая-белая. Вправо, влево и от кончиков лыж до самого горизонта – плоская тундра, накрытая снегом, слепающая и при хилом свете осеннего дня. Торчала среди камней единственная на многие километры лиственница, и тонкий ствол ее, уродливо изогнутый, с кривыми ветками, издали тоже казался черным.

Стояла недолгая перед бураном оттепель, и широкие лыжи, обитые снизу оленьим камусом, проминали свежий, неулежалый еще снег глубоко и беззвучно. От лагеря экспедиции отмахали километров семь, утомились, и Славка Егоров, курильщик страшный и чифирист, задыхиваясь, забубнил в спину Степана:

– Все, браток, глуши моторы. Доползем до курумника – и шабаш, а то поршня вразнос пойдут.

Степана самого прошибало жарким потом, он примеривался взглядом до лиственницы, где хотел устроить привал. Когда дотащились и, пыхая паром, скинули лыжи, Славка оседлал маленький бугорок под деревом и блаженно вытянул ноги. Фу-у-у-х... Заерзал, устраиваясь удобней, бугорок под ним дрогнул и зашатался. Славка оперся руками, поддержаться хотел, и вдруг махом слетел с бугорка, будто ему воткнули шило.

– С-с-с-тепа... – заикаясь, едва выдавил из себя. – Г-г-лянь.

В разворошенном снегу ясно проступали прошитые полосы черной фуфайки. Не сговариваясь, Степан со Славкой схватили по лыжине и боязливо откидали снег. Под лиственницей, выгнув колесом спину, сидел на кукорках, сунув руки между коленей, замерзший человек. Степан гребанул лыжиной, задел его за ноги, и покойник медленно завалился на бок. Лицо у него было сахарно-белым, волосы в ледяных сосульках, в оскале неживых губ тускло маячили два металлических зуба.

– П-п-поохотились... к-к-кажись, зайкой стал... – Славка топтался на месте и держался двумя руками за воткнутую лыжину, как за опору. Степан заворуженно, пугаясь своего любопытства, разглядывал скрюченное тело, различал теперь иней на лбу, крепко прижмуренные глаза с изморозью на ресницах, выдранный клочок ваты на рукаве фуфайки и порванный резиновый сапог с завернутым голенищем. Пытался сдвинуть себя с места, отвернуться и – не мог. Продолжал смотреть.

– Слышь, браток, – голос у Славки повеселел, и он затарабанил обычной скороговоркой. – Да это ж бичик! Помнишь, топ-шлепы искали?! Ты что, не помнишь?! Месяц назад где-то, наших еще посылали! Во случай, а...

Степан вспомнил. Действительно, месяц назад у геодезистов, у топ-шлепов, как их тут называли, пропал рабочий. После рассказывали, что по случаю съема топ-шлепы крепко загудели, и когда самодельная брага кончилась, кто-то подсказал, что у соседей появился спирт. Срочно отрядили одного бича гонцом и не дождались. Поискали, поискали несколько дней и махнули рукой, а потом и совсем забыли. Геодезисты давно снялись, улетели, а этот бедолага остался под лиственницей, скрюченный морозом и заметенный снегом.

– Обидно, спирту-то у нас уже не было. Слышь, браток, за пустым номером мужик топал. – Крепко трухнув в первые минуты – надо же, прямо на покойника уселся! – Славка быстро отошел от испуга и случившееся принял как должное. Легкий был характер у человека. – Чо делать-то будем, браток? До места бы надо доставить, помочь мужику до цели добраться.

– Слушай, не баклань.

– Да ладно, Степа, чо теперь, обмараться и не жить?! Трагический случай...

Упругий ветерок вытянул из сосулек несколько волосинок, уронил их на заиндевелый лоб покойника, и они мягко зашевелились. Степану стало не по себе. Но отвернуться не мог – скрюченное тело притягивало, словно магнит. А Славка уже расторопно связывал свои лыжи и тарабанил, не отрываясь от дела:

– Приспособим щас и с ветерком доставим. Куда деваться, раз нам выпало...

Но когда связал лыжи и когда Степан взял покойника за поджатые ноги, чтобы поднять, Славка снова забоялся и долго примеривался, не насмеливаясь ухватиться за фуфайку. Степан прикрикнул, и Славка, закрыв глаза, ухватился. Затея, однако, оказалась бесполезной. Покойник сваливался с лыж, греб снег ногами, и стало ясно, что далеко они не уйдут.

– Погоди... Развязывай лыжи. – Степан срубил тонкую лиственницу, отсек ветки, и получился хоть и кривой, но надежный шест. – Держи.

Шест просунули покойнику под руки, подняли и понесли. Согнутый, ни капли не прямившийся, тот покачивался, и лицо его по-прежнему сахарно белело, а резиновые сапоги и фуфайка, с которой стряхнулся снег, резали чернотой. Нести было тяжело, Степан, шедший сзади, наступал Славке на лыжи, тот дергался, задышливо ругался и требовал передыха. Ветер задувал сильней, ледяные сосульки на голове покойника исчезали, и продутые, мягкие волосы черного цвета с густой проседью шевелились. От их шевеления Степану казалось, что несут они не окоченевший труп, а живого человека. Вот дернет он сейчас головой, чтобы откинуть со лба волосы, и повернется...

Степан остановил своего напарника, дал ему отдышаться, но сзади уже не пошел, взялся за шест спереди. Это не помогло. Как будто вторая пара глаз появилась на затылке, и виделось по-прежнему: шевелящиеся волосы, изморозь на ресницах прижмуренных глаз и два тусклых металлических зуба...

До лагеря едва-едва дотащились. Опустили ношу на площадке перед домиками, и к ним сразу же набегали работяги. Славка, отпыхавшись, всем вместе и каждому новому подходившему человеку снова и снова рассказывал, как он сел на бугорок и как бугорок под ним зашатался, и что они нашли, когда разгребли снег. Позвали начальника экспедиции, тот подошел, глянул на покойника, на взмокших носильщиков и удивился:

– А зачем на себе перли? Взяли бы вездеход и привезли. Так, сообщить надо. Никто не знает, как его по фамилии?

Оказалось, что многие покойника знали, видели у топографистов, да и сюда, в экспедицию, он не раз наведывался, но вспомнили только кличку – Пархай. Что она означала – толком никто объяснить не мог.

Лишнего закутка, куда можно было положить Пархая, в экспедиции не было, и начальник распорядился накрыть его брезентом и оставить на площадке перед домиками.

Так и сделали. По рации связались с поселком, и оттуда ответили, что завтра вылетит милиционер.

Целый вечер Славка рассказывал мужикам одно и то же. Степан, отмахнувшись от расспросов, без ужина завалился на кровать и сунул голову под подушку. Надеялся уснуть, чтобы избавиться от видения, но стоило лишь закрыть глаза, как оно возникало еще четче и зримей: шевелились волосы, блестела изморозь на ресницах и тускло мерцали два зуба. Скидывал с головы подушку, таращился в потолок, но и там чудилось прежнее. «Да мать твою! Чего я как девица?! Будто покойников сроду не видел!» Злясь на самого себя, соскочил с кровати и сел с мужиками забивать козла. Два раза подряд слазил под стол, вроде успокоился и, накинув фуфайку на плечи, вышел из домика, чтобы дохнуть перед сном свежего воздуха.

На крыше ярко горел прожектор. В его расходящемся луче густо летел снег – начинался буран. Ветер окреп и стал повизгивать. Брезент, которым накрыли Пархая, одним своим кон-



цом вырвался из-под кирпича и глухо шлепал. Степан спустился с крыльца, по новой приладил брезент и долго разглядывал на нем широкие мазутные пятна. Что-то держало и не давало уйти. Ноги будто пристыли. И тут Степан понял, что ему не дает уйти – он пытается представить лежащим на этом месте самого себя. Такого же скрюченного, застывшего и никому не нужного. По спине брызнул неожиданный озноб. Степан бегом бросился в домик.

К утру брезент сорвало и отнесло аж к крыльцу. Мужики притащили его, снова накрыли Пархая и положили сверху еще пару кирпичей. Буран не утихал, набирал силу, и милиционер из-за нелетной погоды не появился. На следующее утро брезент опять валялся у крыльца. Тогда Славка приволок пару тяжелых носилок и накрепко придавил ими покойника. Лежал Пархай под этими носилками и брезентом ровно неделю, пока не установилась погода. Степан, как обычно, ходил на работу, спал, ел, балагурил с мужиками и скрытно маялся: видение его не отпускало.

В тот день, когда установилась погода и прилетел милиционер, Степан был на работе и, как забирали Пархая, как его грузили в вертолет, не видел. Славка потом рассказывал:

– Завернули в брезентуху, и полетел. Милицейский говорит, что родных нет никого, значит, и хоронить не будут, студентам на практику пойдет. Во случай, а! Попадешься так, и будут на тебе тренироваться.

– А фамилию узнали? Не спрашивал?

– Милицейский-то, наверно, узнал. Какая фамилия? Пархай. И фамилья, и имя, и отчество. Пойдем, козла забьем.

– Слушай, Славка, ведь человек же, человек!

– Ясно дело – не обезьяна. Все мы люди. Пойдем, пойдем, сыграем.

Степан шел следом за Славкой, садился забивать козла, по ночам маялся бессонницей и раскладывал по полочкам прошлую жизнь. По годам она была небольшой, но по цвету пестрой. Успел он столько исходить, изъездить, повидать и поработать, что иному хватило бы до пенсии. Как тронулся после деревенской восьмилетки в город, поступать в училище, на сварщика, так и мотался, не имея постоянного дома, а лишь временное, казенное жилье: общежитие, вагончик, казарма, балок, а то и вовсе – небо над головой и костер сбоку. К тем краям, где бывал, его ничто не привязывало, и он, как перелетная птица, повинаясь неясному зову, в любое время мог встать на крыло и тронуться в дорогу. Больше всего в те годы ценил Степан простоту и ясность, а понятие простоты и ясности укладывал в коротенькое изречение, услышанное от одного начитанного бича: в жизни все просто – наливай да пей. Долгое время живя такой жизнью, он не заметил, когда в нем тихо поселилась тоска. Непонятная, неясная, мучила время от времени, и ему казалось, что он болтается в пустоте. Вот и теперь. Не наливалось, не пилося, работа валилась из рук, бессонница винтом крутила на жесткой койке, и время от времени он снова видел Пархая, накрытого мазутным брезентом.

«Просто я счастливей, – думал Степан, вспоминая свои случаи из северной жизни. – Просто меня кривая объезжала, а могло быть...»

Могло быть по-другому. И если бы не объехала кривая, похоронили бы чуть получше Пархая, потому что и по нему, Степану, особо плакать и убиваться некому. Старая, прочно поселившаяся тоска подпирала сильнее и сильнее, как нож к горлу. И уже по какому ряду, едва ли не каждую ночь, маячил перед глазами мазутный брезент.

«Надо эту лавочку прикрывать, – решил Степан, – а то еще тронусь». Решив, он по весне разорвал договор, заключенный на три года с геологоразведкой, вернул подъемные и первым же вертолетом – скорей, скорей, ходу, ходу! – смотался из экспедиции, даже не глянув на прощание в иллюминатор. Бежал так, будто за ним гнались. Добрался до областного города, в центральной гостинице сунул администраторше четвертную в паспорте, и его сразу же поселили.

Номер достался тихий, в самом конце коридора, с телевизором, с телефоном, с новой, еще не обшарпанной мебелью и с маленькой картиной на стене: домик на берегу реки, над

крышей вьется едва различимый дымок, на крыльце стоит старая женщина и глядит, приложив ладонь ко лбу козырьком, куда-то вдаль. Белье на кровати хрустело, в блестящей кафелем ванной висели чистенькие полотенца, в буфете на этаже торговали свежим пивом – лучше и не придумаешь для жизненной передышки. Степан любил устраивать такие передышки, надеясь, что и в этот раз будет по-старому. Потягивал пиво, смотрел телевизор, набирал наугад телефонные номера и, если ему отвечал молодой женский голос, начинал молоть ерунду и пытался назначить свидание. Чаще всего трубку бросали, но иногда откликались и хихикали, правда, от свидания отказывались. А на третий день остановился у стены, будто кто подвел и поставил, и увидел вместо картины родную деревню, свой дом и мать, так и не дождавшуюся его в отпуск. В последние годы никак не мог доехать до родины: после тяжелой работы и неуют балков тянуло на юг, к морю, к веселым, податливым женщинам. Он писал матери, что в следующее лето обязательно навестит, посылал ей деньги и брал билет до Адлера.

Мать умерла без него, и на похороны он опоздал.

Надо же додуматься – повесить такую картину в гостиничном номере, где останавливаются накоротке торопливые люди, забывающие порой не только о доме, но и о себе. Зачем людям рвать душу? Зачем напоминать им, что где-то, далеко отсюда, пытаются сберечь их одинокие, тревожные думы и старческие ночные слезы. Хотя Степана теперь уже не берегли...

Нет, не получалось передышки. Хандра, мучившая его всю зиму, не исчезла, только чуть притухла на время, а мазутный брезент замаячил по-прежнему.

Степан вскочил на диван, сдернул картину с гвоздика, сунул ее за холодильник и закружился по номеру, вытряхивая из свертков и пакетов, только что купленный костюм, новые туфли, рубашки, галстуки. Он готовился все это надеть после передышки, на которую отвел четыре дня, но закончилась она раньше. Открыл дверцу шифоньера, глянул на себя в зеркало и только покачал головой. На него в упор смотрел крепкий парень с угрюмым, обветренным лицом, вбок от нижней губы тянулся широкий шрам – след давней драки. Широко расставленные рысиные глаза были колючими и недоверчивыми. Но если он улыбался, лицо сразу становилось простецким и добродушным. Сегодня ему улыбаться не хотелось. Нахмурясь и помрачнев еще больше, спустился в холл гостиницы.

В холле плавал чад из ресторанной кухни, из зала наносило табачным дымом, и слышался глухой гомон. Степан огляделся и двинулся к высокой двери, отделанной под старину деревянными кружевами, с тяжелым медным кольцом вместо ручки. Потянул кольцо на себя, в это время ресторанный оркестр подал голос, рванул что-то бесшабашно-веселое, и Степан, перешагивая через порог, вздернул голову, мрачно выговорил:

– Распрягайте, хлопцы, коней...

Водку хлестал из фужера как воду, ощущая лишь тяжелый сивушный запах, который смешивался с табаком, ударял в голову, кружил ее, дурманил, и незаметно удушливая, вонючая смесь обволокла, плотно забила нутро. Степан уже не понимал, где он и что с ним. Тело бессильно распластывалось и покрывалось липким потом, воздуха не хватало, а так хотелось глотнуть его, чтобы ожить хоть чуть-чуть. Хрипел, задыхался. Из краешка сознания неверным поплавком вынырнуло – Нюра-бомба, Нюра-бомба... Да откуда же она здесь?! Он ее давным-давно из памяти выпихнул. Нет, оказывается, зацепилась и осталась. Выбрала удобный случай и навалилась, душит. Воздуху бы, воздуху глотнуть! И так тошнехонько, а тут еще Нюра. О-о-ох! Воздуху бы полной грудью, чтобы нутро очистить. Сил нет, какдохнуть хочется. Нюра-бомба. Откуда?

В хмельной бред Нюра заявила из прошлого, из того времени, когда Степану было семнадцать лет, и он заканчивал училище. На последнюю практику перед экзаменами его и еще троих гэпэтэушников отправили на комбикормовый завод, который строился в пригородном поселке. Порядки здесь были вольные, и практиканты не столько работали, сколько бегали за водкой в «прощальный» магазин на окраинной улице. Толстая, широкобедрая нормировщица,

которую все звали Нюрой-бомбой, складывала в сладкой улыбке ярко накрашенные губы сердечком, протягивала Степану деньги, собранные мужиками, и, понижая голос, приговаривала:

– Ты уж, слатенький, не посчитай за труд. Ножки молодые, резвые...

Приговаривала, пыталась погладить по голове и смотрела странным взглядом, значения которого Степан не понимал, но всегда краснел и отклонялся. Мужики хохотали.

Через два месяца, как и положено, практика заканчивалась. В последний день, а пришелся он как раз на пятницу, мужики вместе с Нюрой-бомбой решили достойно проводить молодую смену. Водки набрали больше обычного. Выставили дозор на тот случай, если внезапно нагрянет начальство, и расположились в деревянном зеленом вагончике. Но скоро забыли и о дозоре, и о начальстве – шум, гам слышны были, наверное, за километр. Степан оказался рядом с Нюрой. Места на узкой скамейке было мало, и сидели плотно. Крутое как гора бедро Нюры тесно прижималось к ноге Степана, отодвинуться некуда.

А Нюра наклонялась, задевала грудью, гладила по голове и подливала в стакан. Степан хватался за стакан, как за спасательный круг, и смущение проходило, бедро Нюры уже не пугало, а манило к себе, и он положил на него руку.

В вагончике закурили до синевы. Глаза не различали ни стен, ни лиц. Все плыло, зыбко покачивалось и бестолково шумело. Степан не заметил, когда опустел вагончик, и они остались вдвоем с Нюрой. Только внезапно увидел и отпечатал в памяти: она накинула крючок на дверь, быстро повернулась и, поглядев тем же странным взглядом, каким глядела, когда давала деньги на водку, вкрадчивыми шагами пошла к скамейке, на ходу раздвигая замок желтой мохнатой кофты. Толстые, влажные руки заскользили по плечам Степана, он хотел оттолкнуть их, и не хватило сил – проваливался, как в яму. Кожа у Нюры была мягкой, липкой, изо рта дурно пахло. Степан задыхался от табачного дыма, перегара, дурного запаха и пытался вывернуть голову. Но мокрые, ненасытные губы с остатками губной помады не давали ему увернуться, потные руки шарили по всему телу, и тяжелое, как у коровы, дыхание перебивалось недовольным шепотом:

– Да куда ж ты... Ну!

Когда Степан освободился от рук и губ Нюры, когда сполз со скамейки и, пошатываясь, встал на ноги, испытывая прежнее желание хватить свежего воздуха, которого не было, его стошнило. Он плюхнулся на колени в угол, уперся головой в холодную стену вагончика. Мычал и вздрагивал, а упругие толчки наизнанку выворачивали ему нутро.

После Нюры у него было много женщин, разных, но одно оставалось одинаковым, накрепко с ними связанное – запах табачного дыма, винного перегара и непроходящее желаниедохнуть свежего воздуха. Оно нестерпимо донимало и сейчас – воздуха бы.

Вылезал Степан из пьяного бреда тяжело, с разламывающей болью, пытался избавиться от нее и не мог. Очнувшись, не открывая глаз, хотел вспомнить вчерашний вечер, но в памяти вместо него – черная яма. Пошевелил головой, и она пронзительно заныла. Степан открыл глаза. Ничего не соображая, повел ими вокруг.

Он лежал в крохотной комнатке, стены которой были оклеены фотографиями артистов и артисток. На полу постелен узенький, цветной половичок, у окна стоял стол, застланный чистой скатеркой, и на нем горкой высились книги, общие тетради. Степан со стоном перевернулся на бок, диван под ним жалобно скрипнул, щелкнула пружина, и все стихло. Странная и мягкая тишина стояла в комнатке. Опустил ноги на пол и огляделся внимательней. Тонкие, фанерные двери были плотно прикрыты. Возле дверей стоял еще один маленький столик, на нем – чайник, тонко нарезанный хлеб на тарелке и кусок колбасы. Не поднимаясь с дивана, протянул руку – чайник был еще горячий. Значит, хозяева ушли недавно. Какие хозяева? Как он вообще здесь очутился? Вместо ответов – черная яма. Ему пришла мысль, что люди вешаются и стреляются не пьяными, как про это говорят, а гробят себя с похмелья, протрезвев, пытаясь избавиться от черной ямы в памяти и не зная, куда деваться от стыда.

За дверью слышались легкие шаги. Степан обшарил комнатку взглядом, отыскивая свою одежду, но ее не было, и он бултыхнулся на диван, натянул на себя одеяло. Дверь неслышно открылась, и в комнатку стремительно вошла девушка. Рыжие до огненности волосы будто пылали, вскидывались и небрежно обваливались на спину и на плечи. Комнатка озарилась, стала просторней. Степан, высунув из-под одеяла голову, таращил глаза и ничего не понимал. Девушка теперь стояла напротив, держала в руках полотенце, видно, только что умылась, и от рук пахло земляничным мылом. Старенький, пестрый халатик с незаметно пришитой заплаткой на подоле был ей тесноват, и на высокой груди расстегнулась верхняя пуговка, приоткрыв глубокую ложбинку. Полные щеки спело румянились, в глазах стоял тихий, голубой свет. Уютом, теплом домашним веяло от него, и было под этим светом стыдно, хотелось содрать, как грязную рубаху, похмелье и нырнуть с головой под одеяло, но Степан продолжал таращиться на девушку – боялся, что вот исчезнет она, унесет с собой призрачный уют и тогда снова навалится пьяный кошмар.

– Здравствуй, красавица, – наконец-то нашелся он и, взяв развеселый, привычный тон, понесся дальше, пытаясь за болтовней скрыть растерянность: – Объясни, будь добра, как я в этом райском уголке очутился?

Девушка усмехнулась, повесила полотенце на спинку стула, присела на краешек дивана, и сильнее послышался запах земляничного мыла.

– Короткая у тебя память, Степан Васильевич. Вчера грозился за одну ночь два самородка отдать, они у тебя в рюкзаке валяются. А еще один самородок музыкантам обещал, чтоб они песню спели. «Одиннадцатый маршрут» называется. Что еще-то? Да, в Сочи приглашал ехать, у тебя там кореша живут, если потребуется, они на корабле покатают, всю шушеру из кают выгонят, а тебя покатают. Ой, Степан Васильевич, всего и не вспомнишь, вагон и маленькую тележку наобещал.

Степан представил, как он молот вчера эту ахинею, и потянул на себя одеяло. Провалиться бы куда-нибудь.

– А, забыла, вот что еще...

– Ну хватит! – взмолился Степан. – Хватит! И так ясно. Перегрузка вышла.

– Эх, – девушка укоризненно покачала головой, и рыжие волосы на плечах шевельнулись. – Знаешь, как мой отец в таких случаях говорит? Пороть, пока не обмарается, и плакать не велеть. Ладно, не закатывай глаза-то. Старатель! Вставай, одежду принесу. Мне на пристань скоро, домой ехать надо.

Принесла вычищенный и выглаженный костюм, который висел на пластмассовой вешалке, подала Степану, сама отвернулась, что-то разыскивая на столе. Движения были у нее мягкие, плавные. Из-за стопки книг достала пачку денег и паспорт, не оглядываясь, протянула Степану.

– Это твои. Вообще ничего не помнишь?

– Нет, – честно, со вздохом отозвался Степан, торопливо натягивая на себя рубашку и брюки.

– Привязался к нам, мы убежать хотели с девчонками, а тут двое парней тебя перехватили. Как вышел из ресторана, так в парк потащили. Ну, мы с девчонками пожалели, засунули в такси, привезли вот. Старатель...

– Я это... – смущенно пробормотал Степан. – Не приставай хоть?

Девушка смачно шлепнула в ладоши, откинула голову и рассмеялась:

– Ой, господи, кавалер! «Мяу» не мог выговорить...

Степан кинулся искать свои туфли, засуетился, стараясь не показать растерянного лица – стыд за вчерашнее не проходил. Натянул туфли, завязал шнурки и выпрямился.

– В гостиницу пойду. Тебя как зовут?

– Домашние зовут Лизаветой, остальные – Лизой.

– Спасибо, Лиза. Выручила.

– На здоровье, товарищ старатель.

Надо было уходить. Степан медлил и стоял у порога. Смотрели на него со стен известные артисты и артистки, улыбались заученными улыбками, остывал на маленьком столике чайник, и стояла посреди комнатки рыжеволосая девушка в пестреньком халатике с круглой заплаткой на подоле, с руками, пахнущими земляничным мылом, и все это сейчас останется за тонкими дверями навсегда, а Степан в чистеньком, но казенном гостиничном номере один на один со своей хандрой одуреет и спустится опять в ресторан... Всего один шаг надо было сделать, чтобы открыть дверь и выйти из комнатки, но Степан не шевелился.

– Ты на пристань? Давай провожу.

Лиза вскинула на него глаза. В них не было ни насмешки, ни удивления, а только жалость да по-прежнему тихий свет.

– Погоди уж, чаем хоть напою. Самородков у нас, правда, нету, но заварка хорошая. Вообще-то и умыться тебе, Степан Васильевич, не мешает. Дальше умывальника только не ходи, общежитие у нас женское.

Через полчаса они спустились вниз. Когда проходили мимо вахты, толстая, суровая тетка, сидевшая за барьером, цепко ухватила Степана за рукав.

– Ну-ка, ну-ка, погоди. И-и-и, бесстыжие твои глаза, чего ж ты сестру свою позоришь? Вон она у тебя какая разумница, а ты... валенок мятый.

– Я больше не буду, – совершенно серьезно пообещал Степан.

– Держи слово-то! – уже в спину кричала ему тетка. – Мужичье слово – оно крепкое должно быть.

«Значит, за брата своего меня выдала, – подумал Степан, искоса поглядывая на плавно идущую рядом Лизу. – Только вот непонятно, с какого квасу она меня пожалела?» Хотел спросить, но не спросил.

На пристани было многолюдно, за билетами – длинная, извилистая очередь. Динамик объявлял о прибытии и отходе теплоходов, хрипел, и толком ничего нельзя было разобрать. Степан с Лизой встали в очередь, их то и дело толкали чемоданами, узлами, сетками, они теснились ближе к стене и скоро оказались совсем рядом, так близко, что Степан различил едва уловимый запах духов. А вокруг шевелилась, шумела и ссорилась, как обычно в очередях, густая, людская толпа, и плыл над ней, не исчезая, дух приезда и отъезда, вечный дух временной перевалки.

Степан не знал, не понимал и не пытался понять, что с ним происходит, просто с радостью и охотой подчинялся своему желанию, которое твердо диктовало, что ему нужно делать. Не переставал смотреть на Лизу, на ее глаза и огненные волосы, желая лишь одного – придвинуться еще ближе и, если будет дозволено, положить голову на уютное, покато плечо. Лиза изредка вскидывала на него внимательный взгляд. Степан понимал, что она обо всем догадывается, а раз так – не нужны слова, нужно только не отпустить ее от себя.

– Ты куда едешь?

– До Шарихи, – не удивилась Лиза.

– Возьми на меня билет. Мне надо.

Не давая ей опомниться, вытащил деньги, сунул их Лизе в ладонь, а сам, прорываясь через толпу, бросился к стоянке такси. Незнакомая, незнамая до сих пор сила вела его.

Таксист понял с полуслова, до гостиницы они долетели мигом. Кинув на сиденье паспорт в залог, Степан, не дожидаясь лифта, взбежал на шестой этаж, в свой номер. В минуту скидал в рюкзак вещи. А дежурная копалась, проверяла полотенца, простыни...

– Мамаша, быстрее, опаздываю!

– Раньше надо было. А где картина-то?

– Да здесь она, здесь. Не своровал, не бойся.

– А один купить хотел. Шибко уж переживательная. Стоит вот так, напротив ее, и ревет. Деньги мне давал: ты, говорит, мамаша, отчитаешься. А как я могу, раз она казенная...

Не дослушав дежурную, выскочил из номера. Вниз по лестнице только стук каблуков просыпался. Таксист ждал. Степан бросил рюкзак, нырнул в кабину и хлопнул дверцей.

– Гони!

Он успел. Теплоход был еще у причала. Возле широкого, обшорканного трапа толпились пассажиры. Степан отыскал взглядом огненную голову Лизы и обмяк. Лиза стояла чуть в стороне от толпы, держась рукой за металлический поручень.

– Я успел, – сказал он.

У нее испуганно вздрогнули ресницы.

Пассажиров стали запускать на теплоход. Трап закачался и заскрипел.

## 2

До Шарихи теплоход тащился полтора суток. Навстречу, вниз по течению, шли тяжело груженные, осевшие баржи, целясь дальше и дальше на север. Широкий, речной простор оглашался резкими, испуганными гудками, их эхо долго не затихало, прыгая по недремлющей, текущей воде.

В самом носу теплохода лежали в штабелях длинные ящики, сколоченные из толстых досок, от них накатывал густой смолевый запах и, смешиваясь с речной свежестью, с едва ощутимым теплом нагревающейся на солнце палубы, волновал, как волнуют в детстве запахи давно ожидаемого праздника. Когда-то, девчонкой еще, Лиза в первый раз плыла на теплоходе с отцом тоже весной, в разлив, и глаз не могла оторвать от мира, ее окружавшего. Все было впервые, внове, и так поражало ее, что она, теряясь, молча спрашивала: «Это я или не я?» Казалось, что плывет на теплоходе какая-то другая девчонка. Сейчас, взглядывая на Степана и как бы заново переживая то детское впечатление, она тоже спрашивала: «Я это или не я?» Снова казалось, что ее место занял иной человек. Вспоминала вчерашний вечер и с непонятным вызовом то ли кому-то, то ли самой себе говорила: «Да, это я».

Это она вчера, сдав последний экзамен за весеннюю сессию, в конце концов согласилась с наседавшими на нее подружками и пошла с ними в ресторан. В первый раз в жизни. Степан сидел сбоку, Лиза видела его лицо, шрам на щеке и вздрогнула, когда услышала то ли вздох, то ли стон: «Мама, где ты?» Столько было неподдельной и совсем не пьяной тоски в голосе, что она, уже жалея, не спускала со Степана глаз. После, когда он болтал чепуху и нес околесицу, ей все слышался то ли вздох, то ли стон: «Мама, где ты?» В желтоватом неясном отсвете фонарей, когда Степана окружили ханыги и что-то стали ему говорить, она внезапно увидела его лицо – оно было облегченным и даже радостным – и услышала тот же, прежний голос, похожий на стон: «Пошли, разберемся...» Ясно было, что он с радостью соглашался быть избитым и ограбленным... И тогда она кинулась его выручать.

К вечеру резко похолодало, на реку пополз с берегов туман, густел, становился молочным, и теплоход, сбавив скорость, озарился огнями. Доски ящика стали влажными, палуба давно опустела, а Степан и Лиза продолжали сидеть на прежнем месте, в темноте неожиданно прижались друг к другу и заговорили сразу и обо всем, так просто и откровенно, как говорят только один раз в жизни.

– А мама у тебя давно умерла? Ты расскажи...

Степан поправил на плечах Лизы штормовку, долго смотрел вверх, пытаясь разглядеть небо сквозь густой наплыв тумана. Но небо было скрыто, как скрыта была и река с берегами; теплоход, словно не по воде, а в невесомости пробирался по одному ему известным приметам.

У Степана до сих пор таких примет не было, он плыл наугад, как бог на душу положит. И сейчас, когда стал рассказывать о матери, его неожиданно поразило – плыл, сам не зная куда. И сделал еще одно открытие – он никому об этом никогда не рассказывал. Может, потому, что это никого не интересовало?

– А я ведь первый раз в ресторан пришла, – призналась Лиза. – Девчонки сманили, пойдем да пойдем. Мы как раз экзамены сдали. Я на заочном учусь, в кульке.

– Где? – не понял Степан.

– В культпросветучилище. А работаю завклубом в Шарихе. И родители у меня там же.

В прошлые переезды, внезапно становясь на крыло и круто меняя адрес, Степан никогда не ломал голову, как ему устраиваться на новом месте. Знал – была бы шея, а остальное приложится. Но сейчас, услышав про Шариху, встревожился – как он там будет, где?

– У вас что – леспромхоз, нефтеразведка?

– Зверопромхоз у нас – один на всю деревню. Да вот, говорят, газопровод скоро будут тянуть. Работы много, только не ленись. А жить пока у нас будешь.

– Как это – у вас? – растерялся Степан. – А родители?

– Они у меня старики хорошие, добрые. Сам увидишь.

– А...

– Тсс! Не надо, Степан, про это говорить, вообще не надо говорить. Ничего. Пусть само собой, только не говори... Ой, и дура же я, господи, какая дура... Свет таких не видывал.

Лиза глубоко и обреченно вздохнула, положила голову на плечо Степана. Просто, доверчиво, как давно знакомому и близкому человеку. Рубашка на груди от ее дыхания стала теплой, и Степан кожей чувствовал это тепло.

Невидная в тумане, текла за бортом река, теплоход испуганно вскрикивал и на малом ходу пробирался вперед. Мутными, желтыми пятнами деревушки обозначился правый берег, но скоро исчез, растворился в молочной гуще тумана, и лишь доносился слабый, смазанный расстоянием, собачий лай. Ночь становилась глуше и тревожней. Лиза уснула. Степан догадался об этом, когда голова ее стала безвольно сползать вниз. Тогда он осторожно подвинулся, оперся спиной о штабель ящиков, согнул руку и подставил ладонь под голову Лизы. Лиза вздохнула, но не проснулась. Сидеть ему было неудобно, рука затекла, но Степан не ворохнулся – как можно дольше хотелось продлить это новое и ни разу не испытанное им: невидная река, затянутая туманом, вскрикивающий гудок теплохода, глухая, тревожная ночь и девушка, доверчиво прижавшаяся к нему.

Ночь уходила тихими и неслышными шагами. Стало совсем холодно. Туман поредел, и теперь виделся темнеющий мостик теплохода, его борта, а скоро обозначился полоской на правом берегу лес. Внезапно прорезался над лесом розовый свет, с каждой минутой он набирал силу, наливался яркостью и перебарывал туман.

В это самое время снизу, из каюты, через открытый иллюминатор вырвалась громкая музыка. Ударила она внезапно, как выстрел, и пошла частить железными перебивками и стуками. Они долбили, не прерываясь, словно кто-то упорный, не умеющий уступать, настырно вбивал тяжелой железью одному ему известное желание. Среди жесткого буханья пронзительно вскрикивала гитарная струна – пи-и-иу! – и звук ее был похож на полет пули. Казалось, что, маскируясь звуковым прикрытием, кто-то невидимый посылал одну пулю за другой и ждал результата. Бу-бу, бу-бу, пи-и-у! Бу-бу, бу-бу, пи-и-у! Высокий мужской голос пристроился к музыке и на чужом, непонятном языке затянул тоскливо и обреченно, подвизгивая вместе с гитарной струной, посылающей звук пули. И так она была инородна, так она была здесь не к месту, стреляющая музыка, что хотелось заткнуть уши. Музыка не смолкала, упрямо вонзалась в наступающее утро, в тающий туман, в розовый, наливающийся цвет над темной полоской правобережного леса. Даже гул теплохода не мог заглушить ее.

Лиза вздрогнула и отняла голову от онемевшей руки Степана. Открыла заспанные глаза и медленно повела ими, словно хотела впитать в них все, что было вокруг. На щеке у нее розовела продолговатая вмятинка от жесткого рубца Степановой куртки. Он не удержался и пальцами попытался разгладить вмятинку. Лиза не откачнулась, лишь с улыбкой сказала:

– Ничего, я умоюсь, пройдет.

Зябко передернула плечами, плотнее натянула на них куртку и, прислушиваясь к музыке, которая все еще продолжала бухать, призналась:

– Я ж от нее проснулась. И так что-то страшно...

Музыка внезапно оборвалась, как срезанная, но в воздухе еще долго звучал, летел гитарный взвизг, словно рвалась на излете пуля. Но вот и этот звук растворился, остался лишь в памяти, и явственней проступил натруженный стук двигателей.

Лиза ушла умываться, а Степан, перегнувшись через борт, смотрел на воду. Вода текла мутно-желтая, пузырилась и болтала на себе мусор. Крутые воронки, закрученные течением,



подвигались навстречу теплоходу и исчезали, подмятые железом, а на смену им накатывались другие, и вода кипела, бурлила, не находя себе покоя. Сейчас, весной, ей надо было перекипеть и перебурлить, перетащить с места на место мусор, чтобы стать на исходе лета тихой и чистой. Может, и самого Степана не зря мотало по мусорным житейским волнам, может, и его вынесет к чистой воде?

На палубе слышались твердые, с железным звяком шаги. Степан оглянулся и увидел высокого мужика с крутым разворотом плеч; с окладистой и жгуче-черной бородой. Глубоко сунув руки в карманы канадки, он уверенно шел по палубе, окидывал ее быстрым, цепким взглядом, и подковки его теплых, кожаных сапог звонко стучали. Силой, уверенностью веяло от мужика, от всей его мощной, кряжистой фигуры, от гордой посадки головы и властной поглядки. Степан хорошо знал северный народ и в мужике безошибочно определил начальника, не новичка в этих краях, а настоящего зубра, съевшего на морозе не один пуд соли. Мужик оценивающим взглядом скользнул по Степану, по его штормовке, лежащей на ящике, хмыкнул и подошел вплотную. Степан понял, что и мужик тоже разглядел его сразу и безошибочно.

– На заработки? – коротко спросил он. Голос был жесткий, с хрипотцой, словно в горле у мужика стояла преграда и мешала говорить чисто.

Степан пожал плечами.

– На жительство, а точно пока не знаю.

– Куда? В Шариху? Так. Ясно. Покажи-ка руки. Да ладно, красна девица. Сколько специальностей? Четыре? Годится. Стаж на Севере? Понятно. Кадр что надо. Водка мера жрешь? Давай трави дальше, только без меня. Короче, ближе к телу. Су-четыре треста «Трубопроводстрой». Дюкер будем тянуть возле Шарихи. Приедешь, спросишь Пережогина.

Мужик говорил быстро и напористо. Не дожидаясь ответа, повернулся к Степану широкой плотной спиной и двинулся вдоль теплохода с прежним клацаньем подковок на сапогах примерно сорок пятого размера. «Битый кадр», – невольно подумал Степан, провожая его взглядом.

На палубу поднимались пассажиры. Взъерошенные, с помятыми лицами, они лениво, как осенние мухи, подходили к бортам, подолгу оглядывались. Река, озаренная солнцем, вольно и широко катилась к океану, от избытка сил выхлестывала из берегов. Пассажиры, глядя на огромный водный простор, окончательно проснулись и загомонили.

– А вот и я!

Лиза, в розовой кофточке с белыми пуговицами, стояла перед Степаном, и в глазах ее, широко распахнутых, угадывался точно такой же простор и точно такой же свет, как и на реке.

## 3

Теплоход причалил, замер, и Степан с Лизой сошли на старый деревянный дебаркадер, зацепленный толстыми канатами за сосны на берегу. На дебаркадере, вдоль дощатого низкого бортика с облупившейся краской, стояли люди, вглядывались в лица приезжих. Лиза быстро, приветливо поздоровалась со знакомыми и потянула Степана за рукав.

– Моих нет. Пойдем.

По узкой дороге, вилюжистой и крутой на подъеме, они поднялись наверх, на яр, и Степан увидел три длинные, прямые улицы Шарихи с большими прогалами между просторными, рублеными домами. На лавочках возле домов сидели старухи, они здоровались с Лизой, расспрашивали, как у нее дела с учебой, кивали – «вот и ладно, вот и ладно, эка, девка, умница», – и подолгу глядели вслед. О Степане никто не спрашивал, и он был благодарен старухам за деликатность.

Возле последнего дома на ближней от реки улице Лиза остановилась. Оглянулась на Степана, улыбнулась ему и, подмигнув, не робей, мол, толкнула калитку высоких, глухих ворот. Широкий двор с деревянным тротуаром посередине был накрыт пока еще реденькой, но ярко-зеленой травкой. Хлев, амбар, баня – все находилось под прочной односкатной крышей. В углу двора виднелся новый, еще не посеревший сруб колодца. Во что ни упирался взгляд, во всем чувствовалась размеренная, неторопливая жизнь и ловкие, работающие руки хозяина. На Степана дохнуло давно забытым, почти насовсем утраченным – детством и домом. Он замешкался на деревянном тротуаре, а Лиза, поняв его по-своему, настойчиво потянула за рукав и с прежней улыбкой сказала:

– Ты не стесняйся, старики у меня добрые, они рады будут.

«Было бы кому радоваться», – невесело подумал Степан, поддернул сползающие с плеча лямки рюкзака и уверенно пошагал вслед за Лизой, окончательно и твердо для самого себя решив: даже если будут гнать, все равно не уйдет. Усядется посреди двора, разуется, поставит босые ноги на реденькую зеленую травку, и будет сидеть, пока не высидит... Чего? А что будет, что, как говорится, на роду написано. Та незнакомая, прежде не знаемая им сила, что подхватила и повела на речном вокзале, не исчезала в нем и сейчас, и он ей с радостью подчинялся.

Поднялись на крыльцо, Лиза открыла дверь, и из сенок, из их темной прохлады, какая бывает только в деревянных, давно обжитых домах, появилась низенькая старушка в беленьком платочке. Слабо всплеснула руками, уткнулась в полное плечо Лизы, помолчала и лишь потом, не отрывая лица, глуховато заговорила:

– Места себе не нахожу. Три дня назад телеграмму принесли, а тебя нет и нет. Хотела уж старика на розыски посылать. А утром глянула – кот гостей намывает. Ну, думаю, слава тебе, Господи. Вишь, как оно вышло, не обманулась.

Лиза осторожно обнимала остренькие плечи матери, целовала в чистый, аккуратно повязанный платочек и ласково, с легкой укоризной, выговаривала:

– Я же как писала? Экзамены сдала, на днях приеду. Ох ты, беспокойная моя душа.

– Дак нынче в городах вон, сказывают, беда одна творится. Я уж всякое передумала.

Степан переминался на крыльце, отворачивался, чтобы не глядеть на милую семейную встречу, а сам все-таки косил глазом.

– Мам, я не одна, гость у нас...

Старушка оторвалась от Лизы, выглянула из-за ее плеча и маленькими настороженными глазками ощупала Степана. Он стушевался и, не зная, что делать, по-дурацки склонил голову:

– Здравствуйте.

– И вам доброго здоровья. В избу проходите.

Старушка посторонилась, пропуская их вперед. Степану становилось все беспокойней, но вида не показывал, размашисто шагал следом за Лизой и про себя повторял: «Бог не выдаст, свинья не съест – подавится».

В избе сидел за широким столом крепенький еще старик с маленькой рыжей бороденкой, и хлебал суп. Глянул на вошедших и отложил ложку. Хитровато прищурился.

– Ты, Лизавета, никак, с трофеем воротилась? Как звать-то?

Степан назвался. Старик одобрительно кивнул и принялся за суп. Вдруг снова отложил ложку и спросил у жены:

– Старуха, там в подполе не завалилось?

Старушка сделала вид, что не слышит. Молча доставала тарелки из шкафа и разливала суп. Степан украдкой посмотрел на Лизу, и она ему также – украдкой – подмигнула. В ее глазах прыгали и бесились смешинки, она едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, глядя на своих стариков. Отец громко швыркал и благодушно хлебал суп, а мать, не притронувшись ни к ложке, ни к хлебу, сидела настороженная, как часовой на посту, услышавший внезапный шорох, и не сводила глаз с гостя, примечая за ним каждую мелочь: и как ложку держит, и как ест... Вдруг спросила:

– А ты, мил человек, в лагере не отбывал?

Степан опешил:

– Не-е-ет. А с чего вы взяли?

Она поджала тонкие, сухие губы.

– И то ладно.

И вздохнула.

У старика удивленно полезли вверх белесые брови, а рыжая бороденка дрогнула. Старушка на него сердито глянула и голосом, в котором уже слышались близкие слезы, выговорила:

– Давай, давай, лыбься, дурак старый. Последнюю дочь неизвестно кому сунули. У его вон на руках-то картинка тюремная.

Еще пацаном в училище Степан по дурости выколол на левой руке восходящее солнце, копию рисунка с папирос «Север», давно уже свyksся с наколкой и не обращал на нее внимания; теперь же, удивляясь острому глазу старухи, торопливо закрыл наколку рукавом рубахи.

– Да это так, молодой был, по глупости...

– Вот, слышь, – вмешался старик. – А ты сразу – в лагере сидел! Коптюгин вон у нас директором в конторе сидит, а у него на заднице кочегар с лопатой... нарисован. – Вспомнив, старик развеселился. – И так ловко, зараза, нарисован, Коптюгин идет, а кочегар этот вроде как лопатой шурует...

– Понес, понес, тебе лишь бы зубы скалить. Последнюю дочерь...

– Мама! – Лиза погладила ее по плечу. – Да ты не дуйся, ты послушай. Он у нас на работу устроиться хочет. На пароходе вместе плыли, вот и познакомились. Ой, я и познакомить забыла. Это Степан, а это Никифор Петрович и Анна Романовна.

Анна Романовна облегченно вздохнула. Никифор Петрович хмыкнул, подергал себя за рыжую бороденку и попросил папиросу. Степан же окончательно решил, что он в этом доме приживется, понравится старикам и что Лиза... – дальше он пока старался не думать.

Отвели ему боковую комнату, отделенную от кухни легкой и цветастой занавеской. Степан разулся, лег на чистую, прохладную кровать, положил голову на мягкую подушку и безмятежно, как в детстве, уснул.

## 4

Единственное окно комнаты смотрело на восточную сторону, и по утрам, когда на правом берегу реки, в верхушках сосняка начинал гореть восход, окно окрашивалось светло-розовым, трепещущим отблеском. Проснувшись, Степан подолгу лежал на кровати, не открывая глаз, слушал, как хозяйничает на кухне Анна Романовна, как сердитый спросонья Никифор Петрович гоняет кота, и ждал Лизиного голоса. А когда он раздавался, сначала приглушенный, медленный после сна, потом все более звонкий и зазывный, Степан торопливо вскакивал с кровати, подходил к окну и видел: вот над сосняком проклюнулась макушка солнца, вот оно отрывается от зазубрин тайги, поднимается и всплывает в небо, заполняя округу светом и теплом. После этого одевался и выходил из комнатки, даже не замечая, что с лица у него не сходит довольная улыбка.

А навстречу ему улыбалась Лиза.

Полторы недели Степан с Никифором Петровичем занимались хозяйственными делами: покрасили крышу, заменили стояки в погребе, новыми жердями огородили дальний угол огорода. За это время крепко подружились и понимали друг друга с полуслова. В свободные минуты Степан подолгу и обстоятельно рассказывал о тех местах, в которых ему пришлось побывать, а Никифор Петрович дотошно выспрашивал о самых малых мелочах и всегда удивлялся, что один человек так много успел увидеть.

Анна Романовна поглядывала на Степана настороженно. Но когда он предложил ей деньги, смущенно объясняя, что хочет уплатить за квартиру и за столованье, она обиделась. Сердито глянула на него острыми, темными глазками, поджала сухонькие, вылинявшие губы и выговорила:

– Ты, мил человек, за нелюдей нас держишь, али как? Десятки-то приberi, они тебе пригодятся. Живешь – и живи, раз по-людски.

Однажды Степан случайно зашел в магазин и увидел там электронасос. Вспомнил, что Анна Романовна воду для поливки носит в огород из колодца в ограде. Не такой уж далекий путь, но старухе он давался с трудом. Недолго думая, купил электронасос, шланг, после обеда протянул кабель из дома, и вечером, когда Анна Романовна, собираясь поливать огурцы, вышла из сенок с ведрами, он подал ей шланг, из которого упругой струей била вода. Анна Романовна растрогалась чуть не до слез. За ужином долго расхваливала электронасос и попутно пеняла Никифору Петровичу:

– Ты вот, старый, не догадался купить, такое облегчение вышло. На что дурное – так у тебя ума хватит...

– Гляньте, нет, вы гляньте на ее! – взвился Никифор Петрович. – То она мне по целой ночи шею пилит – не в тюрьме ли был, а то вот... Да вы гляньте, золотой мужик, какого лешего вам надо?! И ты, Лизавета, руками мне не махай! Золотой мужик – точка!

Лиза вспыхнула до самой шеи, прижала к щекам ладони, окончательно смутилась и выскочила на улицу, громко хлопнув за собой дверью. Анна Романовна подобрала узкие губы, помолчала, набираясь сил, и принялась отчитывать супруга за длинный язык, за его вечные шуточки и за то, что он еще в молодости был с придурью...

– Давай, давай, кудахтай... – подначивал се Никифор Петрович, а сам незаметно косил по-молодому лукавый глаз на Степана и подмигивал, словно желая сказать – вот, мол, брат, какая у меня житуха, не чай с сахаром, а перец с горчицей.

А Степан растерялся. Ничего не сказал и молча вышел из-за стола следом за Лизой. На крыльце закурил. Слышно было, как в избе все еще бубнит Анна Романовна. И вдруг кольнуло – при чужих таких перепалок не устраивают...

Над Шарихой густились сумерки. Они наплзали от реки и плотно залегали в притихших деревенских улицах, в широких прогалах между домами, поднимались выше и скрывали изгороди и лавочки возле них. Темнота клубилась и шевелилась, в ней все исчезало и растворялось. По белой кофточке Степан угадал Лизу на лавочке за оградой. Подошел и тихонько присел рядом, невольно уловив едва слышный запах духов и чистой, недавно выглаженной горячим утюгом кофточки. Надо было что-то сказать, и он заторопился, забормотал первое, что пришло на ум:

– Лиза, ты не подумай, я, наверно...

И внезапно задохнулся. Теплые, мягкие пальцы, на одном из которых не зажила еще тонкая и жесткая ниточка пореза, подушечками прижались к его губам и безмолвно остановили: не надо, не надо ничего говорить. Степан осекся, перевел дыхание и тяжело ткнулся лбом в покатое, мягкое плечо Лизы. Плечо не отдернулось, не отвердело, оно лишь податливо чуть опустилось.

Правильно сделала Лиза, что остановила его и не дала ничего сказать, ведь слова в иные моменты нужны лишь для прикрытия, либо для понимания, либо – и такое бывает чаще всего! – для обмана. Ничего этого им было не нужно. Обманывать не собирались, прикрываться не хотели, а понимали друг друга без слов: двое, оказавшись на пустой дороге, не разминулись, подошли вплотную и остановились.

Все случилось само собой, как сама собой пришла мягкая ночь, обволакивающая прохладным уютом, глухими, едва слышными шорохами, похожими на вкрадчивый и невнятный шепот.

Не сговариваясь, Степан с Лизой поднялись с лавочки и направились вдоль улицы, сворачивая к крутому спуску. Река встретила влажным дыханием, на ней подслеповато мигали бакена, и было тихо – ни баржи, ни теплохода, ни моторки.

Лодка, едва обозначенная в темноте низкими бортами, приняла их в себя и слабо качнулась. Степан вставил весла в уключины и стал неторопливо выгребать на середину реки, на самую ее стремнину, обозначенную бакеном. На середине бросил весла, и течение цепко подхватило лодку, закружило и потащило вниз. Оставались позади, уплывали и исчезали за крайними соснами блеклые огни Шарихи, и только ясно был виден одинокий, холодный луч прожектора на причале, где трассовики разгружали свои баржи. Луч не шевелился, дымящейся полосой падал на землю, и видны были штабеля черных труб, отливающие поверху мертвенно-сизоватым светом, широкие, желтые носы приземистых трубоукладчиков и бульдозеров; разноцветные бочки-домики, две неподвижно вытянутые шеи подъемных кранов с опущенными до самой земли тросами; нагромождения ящиков, пакетов, мешков с цементом и внизу – разьеженная гусеницами и колесами земля, усеянная железзяками и мусором. Спуск, давным-давно сделанный к дебаркадеру, оказался мал, и трассовики желтыми, тупорылыми бульдозерами за пару часов скovyрнули большой участок крутого берега. Теперь широко растоптанная дорога прямо от воды поднималась вверх и уходила за окраину деревни, где уже стояли на подставках круглые домики-бочки, где закладывались фундамент гаража и мастерских и где с раннего утра до позднего вечера взвизгивали и взблескивали режущие глаз огни сварки.

Сейчас, под жестким лучом прожектора, нагромождение разнокалиберного железа, молчаливых, холодных машин и взрезанной, перемолотой земли казалось навсегда застывшим и неподвижным.

Мельком глянул Степан на знакомую, за многие годы порядком надоевшую картину и пожалел, что нарисовалась она здесь, на берегу реки, возле Шарихи. Железо, машины и перемолотая земля были инородны, не подходили к мягкой ночи, к реке, бесшумно и незаметно текущей к океану, к белой Лизиной кофточке. И разор этот, по опыту знал Степан, установился не на год, не на два, а навсегда.

Лодку продолжало медленно кружить и плавно уносить вниз по течению. Луч прожектора остался позади, исчез за высоким сосняком. Темнота и тишина вплотную подступили к лодке, накрыли ее мягкими, неощутимыми ладонями. Сторожко, чтобы не покачать лодку, Степан пересел на ту беседку, где сидела Лиза. Теперь они были вместе, совсем рядом, совсем одни на большой, темной реке, уносящей их через ночь – к утру. Лиза вздрагивала, облегченно вздыхала и пальцами дотрагивалась до лица Степана, поглаживая его старый, глубокий шрам. Неожиданно отодвинулась, осторожно отталкивая его от себя, едва слышно прошептала:

– Поплыли назад...

Когда они вернулись и пришли домой, Лиза остановилась посреди пустой ограды, подняла голову, засмеялась и, крепко взяв Степана за руку, повела его следом за собой. Через сенки, через кухню, в свою комнату...

...Стоял короткий, почти неуловимый промежуток между ночью и утром. Полусвет-полусумрак вливался в окно, и Степан различал на лице Лизы слезы от только что пережитой боли и отрешенную улыбку, которая едва трогала ее припухлые губы. Густые рыжие волосы, как ветром разбросанные по подушке, шевелились и отсвечивали. Простыня сползла, и покато, полное плечо белело нетронуто, чисто. Под легкой материей угадывалось все ее молодое тело, каждый изгиб. И все это непорочное было доверено ему, Степану, доверено с простой и ласковой покорностью. Его прошибал страх – как же уберечь светлую, отрешенную улыбку, полужакрытые глаза и взвихренные как ветром рыжие волосы, а главное – как уберечь душу, без опаски прильнувшую к нему? Гулко, до звона в ушах било сердце, и в каждом его ударе слышался прежний вопрос, на который до сих пор не было ответа: «За что? За что?» Накатывала радость, смешивалась со страхом, с вопросом без ответа, с гулким сердечным боем, и хотелось опуститься на колени, на деревянный холодный пол и плакать, как плачут иногда в детстве, – без причины, просто плакать, ни от чего.

– Лиза... – беззвучно, одними губами позвал он.

Она высвободила из-под простыни жаркую руку и пальцами, как на реке, погладила его шрам.

– Какой глубокий. Больно было?

– Не помню.

– А я вот все помню. Все, что со мной было, все помню. Я себя с двух лет помню, честное слово. Боль сначала, а потом я просыпаюсь, вот в этой комнате, и стекла льдом затянуты. А у кровати женщина с мужчиной сидят и руки друг у друга, вот так, в руках держат. И я, я ведь даже слов таких не знала, я вдруг понимаю, что они любят друг друга. Мне как-то легче стало, и я опять поняла, что легче стало от их любви. Заулыбалась, они заговорили, потом отец с матерью прибежали. А я улыбаюсь, мне так хорошо. Потом, когда подросла, у матери спрашиваю, она говорит – точно, в два года я воспалением легких болела, а у нас ее племянница с мужем гостили, только поженились тогда. Понимаешь? Руки в руки... Заранее нельзя придумать или выбрать, оно само... Понимаешь?

Лиза на ощупь отыскала жесткие руки Степана и положила на них свои горячие ладони.

## 5

Через две недели сыграли свадьбу. А скоро Степан забеспокоился: надо было определиться с работой. Душой он тянулся к трассовикам: там все знакомо, привычно, там он будет как рыба в воде, да и заработки – есть, что в карман положить. Но с другой стороны – впервые заглядывал вперед, – с другой стороны, получалось так: сделают трассовики свое дело, смотают удочки и – на новое место. А ему куда? Поддерживать штаны и следом? Нет, не хотел он никуда ехать, вообще не желал больше трогаться с места. Оставалось одно – идти охотником в зверопромхоз. Но тогда придется начинать с самого начала...

Никифор Петрович, когда они об этом разговорились, сразу успокоил:

– Не велика наука. Освоишь. На первый сезон сам с тобой в тайгу вылезу. И обскажу, и покажу – честь по чести. Давай устраивайся.

Утром Степан проснулся раньше всех в доме и долго глядел на темное окно, еще не озаренное утренним светом, напряженно прислушивался к тишине спящего дома, к легкому дыханию Лизы и, наконец, сообразил: волнуется, потому что определяется на долгую, может быть, на пожизненную стоянку. Вот в этой деревне, вот в этом доме, вот с этими людьми, ставшими ему родными.

Сумерки просеивались и редели. Под густой шапкой тумана, невидная, текла река, отдавая прохладному воздуху свою влагу, сырой запах рыбы, весел и лодок. Мир до краев был наполнен спокойствием и нерастраченной, нетронутой еще силой. Степан растворился в нем. И такая радость обнимала его в чистый предутренний час, что он не удержался, сбежал с крыльца и запрыгал, ощущая босыми ногами влажную мягкость росной травы.

Никифор Петрович, провожая его в контору, наставлял:

– Я с Коптюгиным, директором нашим, толковал, он знает. Ты шибко его не слушай, тары-бары разведет до самого вечера. А то еще про медведей начнет рассказывать. Он у нас тут каждое лето их по берегу прутом гонят. Сочиняй бумагу, пусть подписывают, и шабаш. А остальное мы уж сами с усами.

Красный, распаренный Коптюгин сидел за столом, упираясь крутым животиком в ребро столешницы, размахивал толстыми руками и быстро, не умолкая как радио, говорил. В кабинете он был не один. Спиной к дверям, широко расставив на столешнице локти, грузно и основательно сидел рослый, черноволосый мужик. Тяжело, так что пискнул стул, мужик повернулся на стук двери, и Степан узнал Пережогина. Пережогин был босой. Перехватив удивленный взгляд Степана, он широко улыбнулся, показывая в провале черной бороды ровные плитки крупных и крепких зубов.

– Ты на меня, кадр, не гляди. Начальник не пропился, начальник романтику героических будней месит. Залез в болото в сапогах, а вылез – вот...

Пережогин высоко задрал измазанные в грязи ноги и гулко расхохотался. Степан не удержался и рассмеялся вместе с ним.

– А вот у нас в прошлом году случай был, тоже на болоте... – заторопился Коптюгин, но Пережогин махнул широкой, как плаха, ладонью и оборвал его:

– Про случай, Коптюгин, потом. Ты мне скажи – толково и внятно – да или нет?

Коптюгин замялся, сильнее навалился тугим животиком на ребро столешницы, поерзал на стуле и зачем-то стал открывать нижний ящик стола.

– Ты, брат, не финти. Да или нет? – напирал Пережогин.

– Я тогда выйду, – догадался Степан.

– Ага, выйди, выйди, голубчик. – Коптюгин просительно глянул на Пережогина.

– Да ладно... – махнул тот рукой.

Степан вышел. Из-за двери коптюгинского кабинета доносились до него лишь невнятные голоса. Бубнили долго, наконец дверь распахнулась, и босой, улыбающийся Пережогин вышел в коридорчик. Захлопнул за собой дверь, толкнул Степана крепким, литым плечом и отрывисто спросил:

– Когда ко мне на работу? Кадры вот так нужны! – провел ребром ладони по горлу.

Степан, не скрывая, в открытую любовался стоящим перед ним Пережогиним: мощной фигурой, широко расставленными босыми ногами, уверенными и простецкими ухватками. Он немало повидал северных начальников, побывал с ними в разных переделках и знал – вот с таким можно хоть в огонь, хоть в воду. Но знал сейчас и другое – ему нужно остаться, нетопливо оглядеться вокруг. Слишком долго жил не оглядываясь. Развел руками:

– Не могу. Как у нас один бич говорил – пловец из бурного моря испросился в теплую ванну. Семейные обстоятельства...

Прищуренные глаза Пережогина заискрились недоверчивой насмешкой.

– А тапки домашние купил?

– С первой зарплаты.

– Ладно, надумаешь – приходи.

Пережогин еще раз толкнул его плечом и вышел из конторы, крепко и увесисто ставя на деревянные половицы широкие ступни грязных ног. Степан с уважением глянул ему вслед и открыл дверь коптюгинского кабинета. Коптюгин покраснел и вспотел еще сильнее, ерзал на стуле, держал в руках какую-то бумажку и тихонько приставывал:

– Разбойник! Чистый разбойник! Срежь бела дня!

Увидел Степана и спрятал бумажку в стол. Мятым носовым платком вытер круглое лицо, тяжело, как старый мерин, вздохнул и подвинул авторучку, бумагу.

– Пиши заявление. У нас для полного счета как раз двух человек не хватает. Все время какая-нибудь нехватка. То, се, пято, десято, а загривок один, – пошлепал себя по мясистой шее, – и все по нему колотят. Написал? Давай сюда. Трудовую принес? Посмотрим. Так, богато, богато. Деньги лопатой, наверно, греб?

Степан с интересом наблюдал за Коптюгиным. Тот менялся прямо на глазах. Пот вытер, краска с лица сошла, и Коптюгин разом ожил, повеселел, по-свойски подмигивал левым глазом и говорил со Степаном как со старым знакомым, говорил, словно из полного ведра лил воду.

– Чего у нас не жить? Река, тайга, красота. Завидую охотникам: умотали в тайгу – и ни забот, ни хлопот, а тут крутишься, как заяц с кирпичами. Начальство днем и ночью тербит, а на ласку скупые. Правда, был у меня один случай, вот послушай, был, ласково обращались. Да ты подожди, подожди, и с участком решим, и с оружием. Такая история. Встала у нас посреди зимы пекарня – хоть плачь. Туда, сюда – не можем наладить, а в Москве как раз съезд идет. Народ-то нынче грамотный. Отчакали телеграмму, прямо на съезд, так, мол, и так, сидим, советские люди, без хлеба. И что ты думаешь, присылают за мной из области вертолет, прямо вот тут под окошком сел. С отчетом в облпотребсоюз соберешься – так хоть на палочке верхом, а тут, как члену правительства, борт подали. Прилетаем в город. Черная «Волга» ждет, везут в гостиницу. Телевизор, белые простынки, утром опять на «Волгу» и в обком на бюро. Как там влили, думал, кондратий хватит. Пронесло, поехал со строгачом да с последним предупреждением – чтоб через три дня пекарня работала. Снова на «Волгу», на вертолет и прямо в Шариху. Чуешь? И начальство ласковым бывает. Так-так... На чем, значит, мы остановились? – Не переставая подмигивать, Коптюгин побарабанил короткими, словно обрубленными, пальцами по столу и свернул разговор: – Ну, участок тебе за Егорьевским урманом, тесть знает, приказ напишем, оружие получишь, как говорится, вперед и без претензий. Ну!

Он бодренько поднялся и протянул Степану потную и пухленькую, как оладушка в масле, ладонь.



«Кажется, ничего мужик, не Пережогин, конечно, но ничего», – думал Степан, довольный, что все так быстро уладилось и что он окончательно, твердо определился.

Степан и предположить не мог, выходя в это утро из конторы, что пройдет немного времени, каких-то два года, и Пережогин с Коптюгиным станут ему врагами, а жизнь по новой завернет на крутом повороте: его вышибут с работы, обложат, как волка на облаве, и ничего ему не останется, кроме одного – снова срываться и снова искать твердый островок. Он вспомнит о родной деревне и бросится туда, словно в последнее свое прибежище. Оставит в Шарихе Лизу, сына Ваську, твердо пообещав, что заберет их, как только устроится на новом месте, и опять отправится в дорогу, даже смутно не угадывая, куда она в этот раз заведет.

## Глава вторая

### 1

Поезд имел свое название, свой номер, но пассажиры упорно называли его «пятьсот-веселым». Собран он был из обшарпанных, разномастных вагонов, на ходу по-старчески кряхтел и дрожал, а тормозил едва ли не у каждого телеграфного столба. Ездила в нем сельская публика, добираясь до глубинных райцентров и маленьких станций, везла с собой кули и узлы городских покупок, которыми были забиты ящики под сиденьями и верхние полки. Чай в «пятьсот-веселом» никогда не подавали, вода всегда была теплой и невкусной, отдавала запахом туалета. Зная это, пассажиры запасались в городе лимонадом, молоком, пивом и, едва только поезд отходил от главного вокзала, начинали трапезничать.

В рюкзаке Степана было пусто, и он отвернулся к окну, мимо которого неспешно проплыли, исчезая за краем исцарапанной рамы, городские девятиэтажки. Проплыл распростертый над рекой мост, набережная с гуляющим на ней народом, игрушечное здание речного вокзала, пошли улицы деревянных домов, похожие на деревенские, и вот уже во всю ширь, насколько хватало глаз, раскатились до самого горизонта поля с редкими березовыми колками.

Поезд был прежним, прежними были места, по которым он шел, и Степан невольно прикрыл глаза, пытаясь и самого себя тоже представить прежним – зеленым гэпэтэушником. Летняя практика еще не началась, и их, будущих сварщиков, отпустили на несколько дней по домам. До дома, до матери, оставались всего одна ночь и одно утро. Доедет на «пятьсот-веселом» до райцентра, потом автобусом до деревни, а там пять минут ходу от остановки у клуба до переулка – и он вскочит, минуя все ступеньки, на крыльцо, распахнет дверь, и, увидев его, мать радостно ахнет...

Степан вздохнул и открыл глаза. Поздно ему – тертому и битому мужику – играть в сказки. Матери нет, дом, наверное, заколочен, а деревня давно забыла, что он когда-то в ней жил. И позади, если оглянуться, тоже не было теперь устойчивой пристани. Как пешеход в старом школьном задачнике, находился он между двумя пунктами, с одной лишь разницей: там конечный путь и время можно было высчитать, Степану же на своем пути даже и завтрашний день нельзя загадывать.

Мягкая рука легла на плечо, и он вздрогнул от неожиданности, вскинулся. Перед ним стоял незнакомый мужик с густой каштановой бородой и с длинными, тоже каштановыми волосами, выющимися до плеч. Простенькая рубаша была чистой и немятой, на стареньких, застиранных брюках до остроты лезвия наглажены стрелки. Веяло от мужика скромностью и тихостью.

– Степан? Не узнаешь? Ну что ты...

Голос звучал ровно, в глазах плескался мягкий огонек. Да кто же это? Хотя, стоп... Огонек был знакомым. Неужели...

– Саня? – выговорил неуверенно, боясь ошибиться.

– Признал. Здравствуй, земляк. Можно, я тут устроюсь?

Разделенные откидным столиком, они долго разглядывали друг друга, путаясь, торопливо высчитывали – когда же в последний раз виделись? Выходило, что лет восемь-девять назад, когда Степан приезжал в свой первый отпуск с Севера, и они вот так же случайно столкнулись на вокзале, бывшие однокашники, родом из одной приобской деревни со странным и сладким названием Малинная. Но, черт возьми, да Саня ли это? Заволосател, сидит смирно, как в гостях, и тихо улыбается. Только огонек остался в глазах прежним, но и тот наполовину слинял и поблек. Где прежний Саня Гусь? Его нет. Сидит напротив совершенно чужой мужик.

– Тебя, Саня, не признаешь...

– Что делать, Степа, жизнь идет, меняется, мы в ней тоже меняемся. В Малинную едешь? Надолго?

– Да, наверное, насовсем. На житье. Слушай, а космы-то зачем? Под этих – как их? – под хиппи, что ли?

Александр огладил бороду и снова положил ладонь на плечо Степану. Лицо его было благостным и спокойным, даже тени удивления от нечаянной встречи не проскальзывало на нем. Будто заранее знал Александр, что встретит сегодня бывшего однокашника. Тихая улыбка жила на лице постоянно и не гасла даже на короткое время.

– Я же говорю, Степа, жизнь изменилась, и мы другие. А про жизнь разве расскажешь коротко? Про жизнь на бегу говорить нельзя. Знаешь, кто в восьмом вагоне едет? Николай Игошин. На вокзале встретил. Видишь, как судьба собирает, время, видно, пришло. Пойдем? Правда, он теперь начальник, заместитель председателя райисполкома.

– Да хоть самого министра! Пошли, пошли...

Степан первым двинулся по узкому проходу, ухватываясь за теплые железные поручни. В восьмом вагоне, в первом же купе, он увидел знакомое лицо. Оно почти не изменилось: по-прежнему круто оттопыренное ухо, маленький, картовочкой, нос и крутая розовая щека. Точно, сидел у окна Николай Игошин, и лицо его, как живой портрет в раме, несло на уровне тополей, растянувшихся зеленой лентой вдоль линии. Николай обернулся на стук двери, сморщил носик и долго ошалело хлопал глазами.

– Откуда? Каким ветром? Да вы садитесь. Саня, проходи, садись. Надо же! Вот так встреча! Домой? Это сколько мы не виделись?

Говорили, перебивая друг друга, торопились, словно боялись, что им помешают и не дадут сказать всего, что хотелось выпалить сразу. Прошрое, которым они были связаны, держало их и сейчас, и они, обрадованные встречей, даже не заметили поначалу, какими стали разными, как далеко жизнь развела их друг от друга.

А «пятьсот-веселый» тащился, не поторапливаясь, вдоль лесополос, тормозил возле всех станций и полустанков, какие попадались на пути, кряхтел на стыках, испуганно сбавлял скорость, когда мимо, со свистом и грохотом, проносились поезда дальнего следования. Он был старым, изношенным, и торопиться ему было некуда. Лениво проползали мимо станционные здания, окрашенные в два цвета – зеленый и желтый, лозунги на откосах, выложенные из беленого кирпича, железнодорожные переезды с очередями машин у полосатых шлагбаумов, тополя вдоль линии и дальше, за тополями, то зеленый ковер оживших озимей, то еще не засеянные квадраты черной пашни. Все в округе, по которой полз поезд, было знакомым, прежним. И первый вагон, который прицепили сразу за тепловозом и который казался старей и обшарпанней своих собратьев, тоже был прежним. Год его выпуска, что значился на металлических табличках, давно и густо замазали краской во время ремонтов, и служил он теперь как бы без возраста. Вагон многое помнил, и многое хранил из пережитого, хранил и память об однокашниках, встретившихся сегодня так неожиданно. Во втором купе, на внутренней стороне нижней полки, если ее поднять, и сейчас без труда можно было разглядеть крупные буквы: «СГ, СБ, КИ, ЛИ, СШ». Вырезанные августовской ночью пятнадцать лет назад, буквы хорошо сохранились и обозначали: Саня Гусельников, Степка Берестов, Колька Игошин, Лидка Иванова и Серега Шатохин. Ребята тогда только что закончили восьмилетку, было им по пятнадцать лет, и поезд увозил их в новую, городскую жизнь, а они, полные ожидания этой жизни, были шумными и говорливыми. Еще бы! Ехали в город, который из деревни казался до невозможности заманчивым. Он сиял, как вечный праздник. Оттуда приезжали ребята постарше, в модных тогда расклешенных брюках, в пиджаках без воротников, привозили тоненькие, гибкие пластинки красного и синего цвета, эти пластинки крутили на танцах, и они звучали, как отголосок той жизни, в которую хотелось немедленно прорваться. И чем ярче представлялась та жизнь,

тем серее казалась деревня и все, что в ней было. И вот – сбывается. Они гомонили, смеялись над каждым пустяком, а пассажиры раздраженно шикали на них и строжились. Ребята замолкали, вдруг ни с того ни с сего кто-то внезапно прыскал, и все начинали без удержу хохотать, как хохочут только в пятнадцать лет. Лидка с Серегой, как это тогда называлось, дружили, они то и дело выходили в тамбур и подолгу там целовались. Степан, Колька и Саня делали вид, что ничего не замечают, продолжали куролесить, и каждый втихомолку завидовал Сереге. Они еще ни с кем не дружили и надеялись на город, слышали, что девчонок там пруд пруди и все они доступнее деревенских. Ехали и ехали. Когда уж слишком расшумелись, пришла пожилая проводница, громко их отчитала и пригрозила посадить, если не утихомирятся.

Пришлось замолчать. Была уже глубокая ночь, но укладываться никто не думал. Колька взял свою гитару, обклеенную красотками из журналов и с грифом, перемотанным синей изолентой, потрогал струны, настраивая, и негромко запел модную тогда песню:

Бродит одиноко под небом  
Одиннадцатый мой маршрут.  
Путь его конечный неведом,  
И на конце не ждут...

Стояла над землей, до самого неба, темная ночь; спелый, вызревший август лежал на полях, которые приготовились к жатве, и вдалеке, над темной, едва различимой полосой леса, вспыхивали и гасли, как искры, последние зарницы, предвещая скорую осень.

До мечты не ходят трамваи,  
Не в силах мне помочь метро,  
Между звезд проходит кривая  
Маршрута моего...

То ли от песни, то ли от вспыхивающих и гаснущих зарниц, то ли от предстоящего скорого расставания, то ли от внезапной тревоги перед новой жизнью, которая начнется уже завтра, а может быть, от всего вместе, им загрустилось и стало немного не по себе. Колька продолжал петь, но ему никто не подтягивал.

А «пятьсот-веселый» постукивал и постукивал на стыках рельсов, он, как и жизнь, нас всем остановиться не мог. В вагоне было темно, лишь подслеповато мигал верхний свет, пахло потом, кто-то оглушительно храпел, и настойчиво, тонко звякали на соседнем столике пустые бутылки.

Первым очнулся и встрепнулся, как воробей на ветке, Саня Гусельников. Сидеть и молчать – не для него. Долго ли дело найти! Вскочил, крутнулся на одном месте, согнал Лидку с Серегой с нижней полки, поднял ее, засопел от старательности и перочинным ножиком стал вырезать: С Г...

– А что! – не отрываясь от работы, подзадоривал он себя и товарищей. – Вот лет через десять поедem и найдем. Глянем – з-зима морозная! – наше.

И вот они ехали втроем (ровно через пятнадцать лет), и никто из них, даже сам Александр, про буквы не вспомнил. Он слушал Степана с Николаем, говоривших без умолку, улыбался, как улыбаются, глядя на детей, и все отворачивался к окну. За окном начинало темнеть, и высокие, разлапистые опоры электропередачи, снизу затушеванные сумерками, верхушками своими плыли на фоне неба, бледно-розового от затухающего, исходящего на нет заката. И как закат, угасал в глазах Александра синий огонек, глаза становились печальней и тише.

– А ты знаешь, – рассказывал Николай, – у Лидки с Серегой уже трое пацанов, как ступеньки. Сереге не повезло крупно. Вернулся из Афгана, он же прапорщиком служил, обе ноги чуть повыше колен – начисто... Так вот, Степа...

– Где они теперь?

– В Малинной. Туда приехали. В леспромхозовском доме живут. Недалеко от Сани.

– Так ты тоже в Малинной? – удивился Степан, оборачиваясь к Александру.

Тот оторвался от окна и кивнул.

– Третий год пошел, Степа, как вернулся. Живу...

– До сих пор неженатый. Постится. А с капусты да с брюквы на баб не потянет. По себе знаю. Точно, Степа?

– Какие посты? – Степан ничего не понимал.

Александр укоряюще покачал головой, огонек в его глазах окончательно потух, но смолчал, только вздохнул и вышел из купе, неслышно притворив за собой дверь.

– Обиделся, праведник. – Николай развел руками. – Как красна девица стал. Не суетись, сам вернется. Отмолчится и вернется.

– Да в чем дело, ты объясни!

– В Бога теперь наш Саня верит, весь божественный стал, с ног до головы. О спасении души заботится, боится оскоромиться.

– Саня?! В Бога?! Ну... – больше у Степана и слов не нашлось. Он достал папиросы и кивнул Николаю.

Курили молча, приоткрыв незапертую дверь в тамбуре. В широкую щель упруго залетал резкий воздух с запахом креозота и громче слышался гулкий, железный стук колес.

## 2

Николай командовал и не слушал никаких возражений. Сразу с поезда притащил Степана и Александра к себе домой, накормил, уложил спать, а утром подогнал свой служебный «уазик» с нолями на номере, и скоро они уже подъезжали к Малинной. Все трое молчали, и каждый из них, оглядывая знакомые места, невольно начинал думать о своем. Степан опустил стекло, высунулся наружу, и сердце у него сдвоило от волнения, состукало и раз, и другой сильнее обычного. Нет, ничего не забылось, ничего не развеялось и не пропало бесследно за годы житья на дальних землях. Все вбито и врезано в память. Вот сейчас, одна за другой, приподнимутся три невысоких горушки, обнесенные по бокам старыми плакучими березами, дохнет горьким дымом с леспромхозовской свалки, где круглый год жгут опилки, мелькнет и исчезнет сразу за свалкой голубой кусочек Оби, заслоненный пуховым, зеленым тальником, и покажутся крыши Малинной, увенчанные широкими, рогатыми антеннами.

В детстве, когда Степан залезал на крышу своей избы и оглядывал сверху окрестный мир, его сердчишко под рубашонкой так отчаянно колотилось, будто хотело вырваться на волю и взлететь, чтобы парить и кружиться над необъятной округой. Уцепившись за старые шершавые доски, подернутые зеленью от дождей и солнца, он, не в силах сдержать себя, начинал громко кричать. И сейчас, когда машина, тяжело перемалывая колесами глубокий песок на дороге, поднялась на последнюю горушку, когда вся Малинная и все, что было вокруг нее, открылось и распахнулось, как на ладони, он снова испытал желание закричать и снова почувствовал, что сердце готово вырваться и взлететь.

«Уазик» въехал на крайнюю улицу, и Николай сбавил скорость, спросил:

– Ну, орлы, куда двинем? – Не дожидаясь ответа, сам же скомандовал: – Поедем к Шатохиным.

Новый леспромхозовский дом, сложенный из соснового бруса, стоял в самом центре, рядом с клубом, весело поглядывал на улицу широкими окнами, через стекла которых видны были легкие, расшитые занавески. Из трубы над крышей дощатой летней кухни вился дымок. Николай приткнул машину к штакетнику, посигналил и выключил мотор. Дверь кухни звякнула железным крючком и настежь распахнулась. Из темноватого проема, прищуриваясь и разглядывая – кто там, в машине? – выскочила Лида. Разглядела, шлепнула по-девичьи в ладоши – «ой!» – и заспешила к воротам, на ходу поправляя выбившиеся из-под платка светло-русые волосы. В синем, с розовыми цветочками домашнем платье, маленькая, ладная, с белыми, оголенными до локтей руками, Лида, казалось, не шла, а летела, не касаясь земли.

– Я еще с утра почуяла – что-то сегодня будет, – быстро говорила она, широко распахивая перед гостями калитку. – Проснулась и думаю – что-то будет, хорошее. Ой, Степа, какой ты матерый стал! Ну-ка наклонись, я тебя поцелую.

По-женски спокойно и уверенно она обняла его за шею прохладной рукой, пахнущей блинами, и три раза, по-старинному поцеловала, обдав чистым и теплым дыханием. Таким по-матерински добрым был ее поцелуй, что Степан отвернулся и скосил глаза в сторону. Родная деревня встречала его по-родному, она его не забыла, помнила и, значит, не оттолкнет, примет на жительство, поможет отдышаться и отмякнуть душой. Все говорило за это: сияющее Лидино лицо, добрый день, набирающий силу над деревней, любовно прибранная ограда с тремя весело зеленеющими березками, уютный домашний дымок над летней кухней и даже длинная бельевая веревка, натянутая в огороде меж двух кольев, на которой плотно висели ребячьи майки, трусы и рубашки.

– Да вы что такие невеселые! За стол проходите, вон под навес, на вольном воздухе лучше. Сергуня вот-вот подойдет, он в больницу на уколы отправился. Врачиха предлагала на дом приходить, а он ни в какую – гордый, сам ходит...

Голос у Лиды плавно звенел, возле этого голоса, как возле лесного ручья, хотелось присесть и послушать, вникнуть в него и отозваться на простой звук. Все трое смотрели на нее и старались держаться поближе. А Лида успевала поворачиваться ко всем троим, успевала каждого погладить взглядом бойких, открытых глаз и, ловко засовывая под платок непослушные волосы, выскакивающие на волю, мигом вытерла стол под навесом, налила в умывальник воды и мельком погляделась в зеркало над умывальником.

– Вот как! Гости уже за столом, а хозяйка немыта и нечесана. Поскучайте, я на одну минутку, и обедать будем, у меня все готово.

Бесшумно порхнула на высокое крыльцо и скрылась в доме.

– Ну, мужики, – протяжно выдохнул Николай, одеревенело глядя ей вслед. – Куда у нас глазоньки смотрели? Вот на ком надо было жениться!

– Кто чего заслужил, то и досталось. А завидовать, Коля, нельзя, – мягким голосом отозвался Александр.

– Опять... Слушай, Саня, давай без проповедей. Мы уж большенькие, на горшок сами ходим.

Александр опустил голову и стал разглядывать свои руки, положенные на пустой, чистый стол. Руки были темные, грубые, привыкшие к любой работе, на каждой из них не хватало по два пальца, обрубки затянуло розовыми шрамами. Шрамы остались от прежней жизни, от какой Александр, похоже, напрочь отделился, сотворив себя в нынешнем дне совершенно иным человеком. Николаю он не ответил.

Из сенок слышался разнобойный шлепоток босых ног по половицам. На крыльцо, опуская розовые мордахи и заспанно шурясь, вышли, затылок в затылок, три молодца в одинаковых черных трусах и в белых майках, на ходу перестроились и шеренгой придвинулись к краю, выпростили на волю стручки, и три струйки дружно ударили с высоты в сухую землю. Благополучно закончив важное дело, молодцы подтянули трусы на животах, снова перестроились затылок в затылок и ушлепали в сенки. Оттуда сразу же донесся строгий голос Лиды:

– Ой, стыдобина, ну, стыдобина, тоже мне, солдаты называются. С крыльца! Да еще при людях! Я вот скажу отцу...

Громкий, тройной вздох был ответом.

– Заправляйте кровати, умываться и за стол!

Разнобойный шлепоток укатился в глубь дома.

– Вот архаровцы, – жаловалась Лида. Она уже успела переодеться, причесалась и тронула губы помадой. Праздник так праздник! – Никак втолковать не могу. Сосед зашел тут и смехом завел их, если, говорит, с крыльца утром будете дело делать, то через месяц на двадцать сантиметров подрастете. А много ли им надо? Поверили! Неделю как воюем. Ну, войска! Сергуня их войсками кличет. Ну а вон и тятя наш идет!

Лида выскочила из-под навеса и кинулась к калитке. По улице, тяжело опираясь на черный костыль, раскачиваясь при каждом шаге то вправо, то влево и медленно перебрасывая негнущиеся протезы, шел Сергей Шатохин. Голова у него была белой, как у старца. И это соседство белой головы, напряженного, трудного шаганья и молодого еще лица с тонкими, плотно сжатыми губами, невольно встряхивало тех людей, которые на него смотрели. Им становилось неловко. Никто не вскочил и не пошел навстречу, как Лида, они остались сидеть, опускали и отводили глаза в сторону, словно были виноваты, словно их только что уличили в воровстве или в трусости. Чем ближе подходил Сергей, тем больше росло напряжение. Оно бы продолжало расти и не исчезло бы само по себе, не оказался рядом Лиды. Она ловко подхватила Сергея под руку, откинула голову, вытянулась на цыпочках и поцеловала в щеку. Тонкие, плотно сжатые губы Сергея дрогнули и расслабились.

– Ты глянь, Сергуня, каких нам гостей занесло! Все такие матерые, такие важные, на козе не подъедешь. Я и так, я и сям, а они хоть бы хны, ва-а-ажные... Хоть бы один догадался комплимент сказать!

– Лидочка! – сморщив носик, вскочил Николай. – Какие тут комплименты, когда слов нет, а одни эмоции. Серега, ты как ее воспитывал?! Троих мужиков на свет произвела, а сама, как девочка. У меня разьединственного выродила и во, шире комода. Серега, продай секрет.

– Никакого секрета, Коленька, нету, – бойко вставила Лида. – Своих – деревенских надо было брать, а то навезли со стороны, чужого-то...

– Дальше, Лидочка, можешь не продолжать, про назем сами знаем!

Скорая, шутивая перепалка дала передышку и настроила на веселый лад. Напряжение спало. Мужики обнимались, тискали Сергея и хлопали его по плечам. А Лида, будто разом забыв о них, уже накрывала на стол, выставляя одно угощение за другим.

Между тем с крыльца неторопливо спустились три молодца, умылись по очереди, вытерлись одним полотенцем, и Сергей весело их окликнул:

– Войска, а ну иди здороваться. Заодно познакомьтесь – дядя Стена Берестов. А этих вы должны знать.

Степан осторожно пожимал холодные после мытья ручонки, вглядывался в розовые мордахи Ивана, Алексея, Федора и молча ахал – три маленькие Лидины копии сияли перед ним, бойко поблескивая широко распахнутыми глазами.

– О чем задумался, детина? – Николай толкнул его в бок. Никак не мог сидеть зам без дела, хотелось ему командовать и крутить всех вокруг себя. – Расскажи лучше, чем занимался это время, каких вершин достиг. Мы ж про тебя мало-мало знаем, а ты...

– В следующий раз, – торопливо перебил Степан. – Вот перееду в Малинную, день и ночь буду рассказывать.

– Переезжаешь? – удивился Сергей. – Надолго?

– Да, наверно, насовсем.

– Ну что такое! – не унимался Николай. – Чем вы, братцы, занимались, что ели и что работали? Серега, хоть ты расскажи, как там?

Тонкие губы Сергея сомкнулись, и лицо стало угрюмым, отчужденным. Заметно было, что простецкий и как бы между делом заданный вопрос поцарапал его и заставил сжаться. Левая щека нервно дернулась. И снова выручила Лида:

– Ты, Коленька, как на сессии райсовета. Давай отчет, и все, а то выговор объявим. Да вы хоть поглядите сначала друг на друга, повспоминайте, а уж потом каждый как захочет, так и скажет. Я вот тут Марию Николаевну на днях видела, она про всех вас помнит, и Леонид Петрович помнит, как взаперти сидел. Саня, вот признайся теперь, ты ведь, архаровец, придумал, больше некому. Эти ж лопухи были, им бы и в голову не пало.

Александр потеревил бороду, и синий огонек в глазах разгорелся.

– Придумал-то я, а вот недовольство первым твой муженек высказал.

– Еще бы! Он с первого дня в нее втюрился! – Лида ухватила Сергея за ухо. – Влюбчивый мальчик!

Словно невидный ледок треснул. Наперебой стали вспоминать давнюю историю, которую, оказывается, помнили во всех подробностях.

Когда учились в седьмом классе, приехала в Малинное преподавать литературу и русский язык молоденькая Мария Николаевна. Девчонки за ней ходили, раскрыв рты, и даже самая отчаянная пацанва втайне прониклась к новой учительнице уважением. Пацанва-то первой и углядела, что в маленький домишко, в котором жила Мария Николаевна, стал похаживать физик. Потерпеть такого, конечно, не могли. Во-первых, физик был зануда и учеников называл не иначе как «молодые люди», во-вторых, в клубе он всегда становился рядом с кинемехаником и не пускал на фильмы до шестнадцати, а в-третьих – и в-главных – у физика была



большая, ранняя лысина, и Марье Николаевне, по общему мнению, он был не пара. В домишко физик проникал очень просто – через окошко. Первым это увидел Серега Шатохин, увидел и возмутился. А Саня Гусь тут же придумал наказание. Вечером, когда физик залез в окно, пацаны наглухо закупорили снаружи ставни, а дверь подперли столбиком. Расчет был дельный: у Марии Николаевны занятия начинались во вторую смену, а вот у физика в первую, да еще первый урок в седьмом классе. Когда он, взъерошенный и потный, прибежал к концу урока в школу, – из заточения его выручили соседские бабы, – на доске красовалась старательно выведенная мелом надпись: «Дано: физик лезет в окно. Требуется доказать: как он будет вылезать?»

Старая история теснее сдвинула сидящих за столом, и скоро они уже с головой окунулись в прошлое, которое их цепко держало. Так три или четыре ствола дерева, вымахнув из одного корня, растут и расходятся друг от друга, чем дальше, тем больше, но основание-то у них все равно остается единое.

– А что это мы тары-бары и не спели ничего? Ну-ка погодите. – Лида вынесла из дома баян, взблескивающий перламутром клавиш и металлическими ободками, и осторожно подала его Сергею, сама перекинула ему ремень через плечо. – Давай-ка, Сергуня, тряхнем стариной. Мы в гарнизоне на смотрах все первые места брали. Точно, Сергуня? Помнишь, как я комбата переплясала, вот смеху было!

– А, правда, давай, Лидуха, тряхнем! – Впервые за все это время Сергей широко и свободно улыбнулся, не напрягая тонких губ.

Наклонил седую голову и сразу без всяких подступов рванул мехи баяна, а баян чисто, звонко отозвался ловким пальцам, заполняя ограду и ближнее пространство набирающими задор звуками плясовой. Лида, словно она была одна-едина с этими звуками, быстро вышла на деревянный настил, замерла, вскинув голову и прикрыв глаза, какое-то мгновение постояла неподвижно, а звуки продолжали нарастать, и она, подчиняясь им, медленно подняла руки, развела их, будто открывала перед собой мир, и плавно поплыла в него, осторожно, на полшага переставляя крепкие ноги в коричневых туфлях с невысокими каблуками. Изначальный шаг ее был неслышен и невесом. Но резче задвигались мехи баяна, громче разлетелись звуки, Лида вздрогнула, встряхнула руками, невысокие каблуки туфель легонько ударили по деревянному настилу и в точности повторили мелодию. Еще быстрее рванулся на волю мотив плясовой, и веселей, дробней запели о настил каблуки. Раскинув руки, без остатка отдаваясь музыке, Лида плясала так, что ее крепкие ноги неуловимо мелькали перед глазами, мелькал взвихренный подол широкой цветастой юбки, и казалось, что все это само по себе парит и неистово кружится в воздухе, а дробный, лихой перестук идет от самого деревянного настила, который – еще минута! – и загудит сплошным гудом от пляски, не знающей удержу.

Взрыв, самый настоящий взрыв ахнул перед мужиками, сидящими за столом. Они были заморожены его силой и его звуком, в них самих загоралось ответное чувство, родное, знакомое, уцелевшее назло всем передрыгам, и ноги сами начинали вздрагивать в лад музыке, и просились на волю. Но мужики продолжали сидеть, прекрасно понимая, что никто из них рядом с Лидой смотреться не будет, любой сразу покажется неловким и неуклюжим.

Ты, Подгорна, ты, Подгорна, широкая улица!

И мелькают каблочки туфель, вяжут тонкий узор перепляса, и баянный голос сливается с ним заодно, закручивается в немыслимом удалом вращении и вспыхивает в нем неожиданно, как в горящем уже костре новое пламя от сухой ветки, короткий, тонкий вскрик: «И-и-их!»

По тебе никто не ходит, ни петух, ни курица.

А если курица пройдет, то петух с ума сойдет!

И вздрагивает по-девичьи высокая, налитая грудь, тесно ей в белой кофточке с широкими рукавами, мечутся две аленькие завязочки, и вот слабенький узелок, затянутый у самого воротника кофточки, не выдержал, разъехался, и воротник широко распахивается, обнажает тонкую шею с нежной, глубокой ямкой между ключиц, распахивается ниже, и видны теперь два белых истока грудей, и узкая, утекающая вниз ложбинка между ними.

И-и-и, ах, ах, ах!

Горит лицо густым, буйным румянцем, удалью и лукавством светятся глаза, распахнутые навстречу всему миру, и на чистом лбу разлетаются непокорные русые волосы.

А ведь только она одна, Лида, осталась прежней, той самой девчонкой, какую они все знали раньше. Ничего не растеряла, все сохранила: и душу, и обличье..

Выбила последнюю дробь на деревянном настиле, такую бесшабашную и яркую, что задымилась пыль в щелях толстых плах, выбила и остановилась, безвольно бросив руки вдоль тела. Стих баян. И молча, каждый задумавшись о своем, смотрели мужики просветленными глазами на плясунью.

## 3

Узкий переулок с длинными и высокими поленницами вдоль заборов, с двумя серыми полосами от машинных колес, выдавленными на зеленой траве, был прямым, словно отчеркнутым по линейке. Солнце шло на закат, и переулок розовел. Шаги по невысокой, не набравшей еще силу траве были неслышными. В самом переулке тоже покоилась тишина. Степану показалось, что он идет к кладбищу. Испуганно глянул в левый край переулочка и замер – он не увидел знакомой двускатной крыши и старого, выдолбленного из осины скворечника на высоком шесте. Вместо крыши и вместо скворечника зияло, как провал в пустоту, ничем не занятое пространство, и дико было видеть прямо из переулочка пологий берег Незнамовки, саму речку, широкий луг за ней и даже то место, где в густой дымке, подсвеченной солнцем, луг сходил с небом. Не веря глазам, Степан вплотную подошел к забору и остолбенел – его родной избы не было.

На том месте, где она стояла, густо щетинилась молодая крапива. В крапиве лежали гнилые доски, из них торчали гнутые, ржавые гвозди, валялись битые, задымленные кирпичи из разваленной печки, смятый железный обод от кадушки, ухват с обломленной ручкой и еще всякие разные останки исчезнувшей избы, стоявшей на этом месте много лет.

Степан осторожно обошел вдоль забора – калитки не было. Два столба, на которых она висела, перехлестывались крест-накрест старыми плахами. Он перелез через них, больно обжалился крапивой и двинулся дальше. Под туфлями хрустко заскрипел битый кирпич. В серой мешанине выцветшей известки, глины от штукатурки и земли что-то тускло блеснуло. Степан наклонился и поднял маленькое зеркальце на железной подставке. Подставку испятнала рыжая ржавчина, само зеркальце с угла на угол расчеркивала широкая трещина. Он боязливо поднес зеркальце к лицу и глянул. Глаза были испуганные и бегающие, старый шрам налился кровью, а само лицо наискось от правого виска и до левой скулы пересекала черная, кривая трещина. Степан отдернул зеркальце, но не бросил его, вплотную сдвинул две половинки, круче загнул жестяные скобки, и трещина сжалась. Хотел еще раз посмотреться и не решился. Раньше зеркальце стояло на комодке, и пацаном Степан любил подставлять его под солнечный луч, луч отскакивал веселым зайчиком, и яркое пятно можно было направить в самый темный угол. Сунул зеркальце в карман и лихорадочно стал искать в крапиве, среди обломков кирпича, кусков штукатурки и гнилых досок, еще какую-нибудь вещь, хоть самую малую и ненужную, но чтобы он ее помнил. Однако больше найти ничего не смог. Изба исчезла, а вместе с ней исчез целый мир. Степан помнил его на цвет и на запах. Помнил прохладные сенки с одной скрипучей половицей у порога, темную кладовку, где всегда стоял сухой запах пыли и муки; из кладовки по лестнице можно было подняться на чердак, там удушливо пахло березовыми вениками, развешенными на длинной жерди, а на бревнах и на стропилах лежала мягкая пыль. Еще были в избе две комнаты, широкая русская печка и тесный куть возле нее, две лавки, задернутые старенькими занавесками. Под лавками стояли по осени печеные тыквы – кажется, ничего слаще он потом не едал. На печке, на ее широких кирпичах, зимой сушились пимы, и там, на старых, теплых фуфайках, засыпалось после беганья по морозной улице особенно покойно и крепко, иной раз и слюнка изо рта выкатится...

Все кануло, исчезло и растворилось.

Степан потерянно озирался и разводил руками, словно летел в пустоте и хотел зацепиться хоть за какую-нибудь опору. Но зацепиться было не за что. Крапива и та еще не подросла, до колена не доставала. Он напряженно вслушивался, пытаясь оживить и воскресить в памяти материн голос, услышать его. Но голос не приходил. Он исчез вместе со стенами, в которых хранился. Когда их рушили, с размаху всаживая железные ломы, голос отчаянно цеплялся за каждую щелку, за каждый угол и паз, но ломы свое дело знали и отворачивали одно бревно за

другим, крошили штукатурку и вышибали оконные косяки. Каждое бревно, каждая доска, каждый косяк, падая на землю и вскидывая вверх пыль, отрывали и уносили с собой, разбрасывая в воздухе частицу голоса. Рвали до тех пор, пока он не потерялся. Теперь не дозовешься. Еще никогда не был Степан таким одиноким и сиротливым, как в эти минуты на останках родной избы, под темнеющим к вечеру небом. Тупо глядел себе под ноги, сжимал в кармане маленькое зеркальце с железной подставкой и напрягал ноги, потому что колени мелко и ознобно тряслись.

– Здорово, сосед!

Голос был громкий, чужой. Степан медленно обернулся. На него смотрел из-за забора, прищуривая глаза, Бородулин, крепкий и осадистый мужик лет шестидесяти, с багровыми лишаями на щеках и на шее. Дом Бородулина стоял наискосок от бывшей избы Берестовых, и хозяин, наверное, увидел Степана из окна. Бородулин был в широкой клетчатой рубашке, армейских галифе и в комнатных тапочках на босу ногу. Стоял крепко.

Степан кинул последний взгляд на пустое место и пошел к забору, под его туфлями снова закрипели битые кирпичи – как встретили, так и проводили. Перелез через забор и за руку поздоровался с Бородулиным. Тот перестал щуриться, оглядел Степана с ног до головы, кашлянул в матерый кулак и заговорил извиняющимся голосом:

– Ты, Степан, не сердчай, избу-то я свел, на дрова да на столбы вон для загородки, хлев еще подновил. Вот... Три года стояла, от тебя ни слуху ни духу, ну, думаю, по трезвянке, значит, решил, только сказал пьяный. Помнишь, как говорил?

Степан кивнул:

– Помню, помню... Ладно, дело сделано, чего уж...

А сам чуял, как щеки и скулы наливаются у него горячим румянцем, и, чтобы не выдать своей растерянности, не показать ее Бородулину, торопливо попрощался и круто повернул к речке.

На берегу Незнамовки бросил под ветлой костюм, привалился на него боком, прижался головой к комлю и хотел заплакать. Но плакать он, оказывается, разучился и мог лишь невнятно, сквозь стиснутые зубы ругаться матом. Сам, все сделал сам, никто не брал за глотку и не тряс за грудки. Приехав в деревню и опоздав на похороны матери, еще не сходяв на кладбище, устроил в избе черную, на двое суток пьянку. Помнил он ее слабо – все плыло и качалось, как в зыбком табачном чаду. Помнит только, что, увидев в окне прохожего, выскакивал на улицу, хватал его за рукав и тащил к себе в гости. Наливал полный стакан, требовал выпить до дна. Бросал десятки на грязный стол, заваленный объедками и окурками, нетерпеливо прогонял кого-то в магазин, раздавал вещи, оставшиеся после матери, и тогда же, видно, широким жестом отмахнул Бородулину и саму избу.

Ничего теперь не переделать и не исправить – время назад не крутнешь. Степан глухо мычал, матерился сквозь стиснутые зубы и стучался головой в комель ветлы. Крепкое дерево едва слышно отзывалось. Собираясь в Малинную, Степан даже представить себе не мог, что вернется на пустое место, что оно будет маячить перед глазами, как немой укор. Со злобой вглядывался в себя, прежнего, и чем внимательней вглядывался, тем больше его брала оторопь. Если бы не Лиза, если бы не их шальная встреча, куда, до каких отметок он бы докатился?! Страшно было представить. Но он заставлял себя заглядывать в самую глубину, где уже маячило дно.

К ночи резко похолодало, и все пространство округи безудержно заполонил густой запах цветущей черемухи.

Степан спустился к реке, сунул руки в холодную воду, пальцами ощутил едва заметный ее напор, и от этого прикосновения холодной, текучей воды ему стало чуть легче. Закатал рукава рубашки, уперся ладонями в песчаное дно и долго пил, прилепывая губами, пил жадно, взахлеб, словно после долгого пути его истомила жажда.

...В доме у Шатохиных еще не спали. Окна с наглухо задернутыми занавесками светились изнутри, и на летней кухне горела маленькая, подслеповатая лампочка. Лида в домашнем платье домывала грязную посуду. Услышала стук калитки, шаги Степана по деревянному настилу и выглянула в дверь.

– Пришел, Степа, а я уж забеспокоилась, где, думаю, пропал... Сергуня телевизор смотрит, Коля уехал, Саня домой ушел – все разбрелись. Пока не забыла, просил тебя Коля заехать к нему, разговор, говорит, есть. Ты, Степа, съезди, он мужик хороший, командовать, правда, любит... Да ты проходи, чего встал, чаю попьем.

Чистая посуда между тем была расставлена по местам, клеенка на столе насухо вытерта, и на газовой плите, попискивая, уже закипал чайник.

– Покрепче заварить? Да ты, Степа, не хмурься, гляди веселей. Я тебе сразу хотела про избу сказать, да вот... Полегчает, я по себе знаю, что полегчает. Я вот когда про Сергуню услышала, день черный сделался, думала, что и не выправиться, а ничего... И ты, Степа, не отчаивайся. Да ты пей чай, варенье вот бери. Знаешь, сидела сегодня, смотрела на вас на всех и думала – какие разные стали, такие разные, что если бы не детство общее, мы бы никогда вместе не собрались. Саня вон особенно. Сергуня злится на него, терпеть не может. Я говорю – ты пойми сначала, пойми, а уж потом осуждай – слушать не хочет. Разговорила я, тебе ж спать надо – с дороги, да целый день на ногах. Пойдем, я постелила. А если хочешь, телевизор с Сергуней погляди.

Лида его ни о чем не расспрашивала, и Степан был ей благодарен за это.

## 4

Ровно неделю он квартировал у Шатохиных. Каждый день пропадал на усадьбе, где когда-то была изба, навесил там калитку, выкосил крапиву и сколотил из горбыля маленькую, низкую будку с широким, наполовину стены, окном. Перетащил в будку рюкзак, раскладушку, купленную в магазине, и твердо решил – до осени, кровь из носу, надо поставить дом и перевезти Лизу с Васькой. Работы, которая маячила впереди, он не боялся, думал о ней спокойно и старательно перерисовывал в школьной тетрадке, каждый раз по-новому, план будущего дома.

Лида, добрая душа, уговаривала пожить у них, мол, не объест и места на всех хватит, то же самое толковал и Сергей, но Степан отказался: ходить туда-обратно – время терять, а там лес привезут, доски, кирпич, как бы не растащили... На самом деле причина была другая. После первого вечера, каждый день глядя на Сергея, на его тонкие и всегда плотно сжатые губы без единой кровинки, на белую, коротко подстриженную голову, нечаянно перехватывая время от времени тяжелый взгляд, видя, как кружится вокруг мужа, словно птица над гнездом, Лида, он не мог избавиться от непонятного стыда. Как будто что своровал у Шатохиных. Однажды, пытаясь разговорить Сергея и почему-то заискивая перед ним, спросил – как там дела? Сергей резко дернул голову, словно пытался уклониться, и зло, почти не разжимая сомкнутых губ, буркнул:

– Война там. Ясно?

И презрительно сощурился, как бы желая притушить свой тяжелый взгляд. Степан сидел, как оплеванный. Чувство непонятного стыда не проходило. А избавиться от него хотелось, хотелось как можно быстрее отойти в сторону, жить спокойно, размеренно, не шараться и не ломать голову, а заниматься своим делом – строить дом и скорее перевозить домашних.

На вторую неделю после приезда он собрался в райцентр и зашел к Николаю в райисполком. Тот стал расспрашивать о жизни и допытываться, почему Степан вернулся в Малинную. Степан не сдержался и отрезал:

– За правду хотел побороться, а добрые люди пинка наладили, до самой Малинной кувыркался.

– Тебе наладишь, как раз, – засмеялся, не замечая грубости, Николай. – Вон какой лобешник широкий. Ты, дружок, волну не гони. Я ж не из любопытства твои болячки ковыряю. По делу надо. Понимаешь, по делу.

В своем кабинете с широкими полированными столами, телефонами и селектором, с ковровой дорожкой от стены до стены – все это настраивало на строгий, казенный лад – Николай оставался прежним, таким, каким был сначала в поезде, а потом у Шатохиных. Морщил носик, ерзал на кресле и говорил простецки, напористо, не слушая никаких возражений, словно на тракторе ехал.

Но Степан ничего рассказывать не хотел. Не хотел перетряхивать прошлое. Упрямо мотнул головой – отстань.

– Ну, тогда я про тебя расскажу. Согласен? – Николай поднялся с кресла, сунул руки в карманы, вышел из-за стола и остановился напротив Степана, пристально глядя на него сверху вниз. – Как я понимаю, настукали тебя по головке, и вспомнил ты про Малинную, как тут ладно и сладко было в детстве, вспомнил и прикатил. Ходишь, любишься – так прекрасно. А поживешь месячишко-другой, оглядишься, а деревни-то прежней, в какую ехал... – Николай присвистнул, – нету ее. Пока мы по городам да по северам шлялись, ее так переделали и уделали, что не признаешь. Ухайдокали нашу Малинную. Выручать надо.

– Как это – выручать? – не понял Степан.

– Порядок наводить, закатывать рукава и наводить порядок.

– Ну уж нет! – Степан поднял руку, словно хотел заслониться. – Сытый, вот, под самую завязку.

– Ты не ерепенься, послушай...

– И слушать не хочу. Сказал же – сытый!

– Ладно. Куда на работу думаешь?

– Пока не думал. Закончу с домом, там видно будет.

Николай молчал, не вынимая рук из карманов, по-прежнему глядел на него сверху вниз, глядел внимательно пристально, решая что-то очень важное для себя. Вдруг в упор спросил:

– Пойдешь рыбнадзором?

Не дождавшись ответа, стал объяснять:

– Участок большой, на два района, рыбнадзор не справляется, запурхался, да и сам мужичок липкий. В областной инспекции разделить хотят, два участка сделать. Пока, правда, резину тянут, но, думаю, пробьём. Честный человек нужен, Степа, чтобы не скурвился, и особенно в Малинной. Пойдешь?

– Нет. И не уговаривай.

– Ладно. Поживи пока, погляди. Погляди, подумай. Жаль, Степа, ничего ты не понял.

Николай вернулся на свое прежнее место, опустил голову и забарабанил пальцами по столу. Вид у него был обиженный и сердитый.

Степан даже не попрощался, торопливо и с облегчением выскочив из кабинета. Предложение Николая дышало тревогой, и туда, в тревогу, он пытался затащить Степана. Хватит! Старые болячки еще не зажили. По лестнице со второго этажа райисполкома спускался, прыгая через две ступеньки, и оглядывался, будто опасался, что Николай догонит и будет снова уговаривать.

Только на автостанции, где было многолюдно и суетно, где никто на него не обращал внимания, Степан спокойно сел в старенький автобус, отправляющийся в Малинную.

Пассажиров в автобус набилось и натрамбовалось под самую завязку, рессоры просели, и заднее колесо на поворотах скребло днище. Перед деревней в автобусе поднялась обычная ругань: те, кому надо было на паром, чтобы успеть на той стороне к автобусу до соседней деревни, требовали сделать остановку у реки. Шофер артачился, кричал, что остановки здесь не положено, но, видя, что горластых пассажиров не перекричать, культурно обложил матом всех, кто ехал в автобусе, свое начальство, Малинную с ее дурацким паромом и свернул к берегу.

Степана еще в райцентре плотно придавили к железной стойке и за дорогу крепко помяли – ребра ныли. Он протолкался к дверям и сошел на берегу. На палубе парама уже стояли машины, большей частью легковые – была пятница, городской и райцентровский люд валил на отдых, а пассажиры столпились у правого борта и глазели на драку, которая топталась на песчаном приплеске у самой воды. Двое мужиков, Гриня Важенин и Виктор Астапов, с красными, раззадоренными лицами, охаживали тонкого, как червь, лохматого парня в линялых джинсах. Охаживали всерьез, у парня только голова моталась да вскидывались волосы. Неподалеку стоял Бородулин. Был он в армейских галифе и в домашних тапках, широко расставив ноги, прищуренно глядел на драку и кивал, словно подбадривал мужиков. Парень заорал, закрыл лицо руками и согнулся. Степан кинулся было разнимать, но Бородулин, не поворачивая головы, остановил:

– Не лезь, Степан. За дело. Чужую добычу повадился таскать.

Какая добыча? Спросить Степан не успел. Широким облезлым носком кирзового сапога Гриня Важенин влепил парню пинка под задницу, и тот плашмя шмякнулся на песок. Мужики молча и неторопливо, словно после работы, ополоснули руки в реке и, не оглядываясь, скорым деловым шагом потянулись к деревне.

– За такие дела учить надо, – Бородулин одобрительно поглядывал вслед мужикам. – А то никакого края не чует...

Степан все-таки подошел к парню. Тот лежал на песке, выставив наружу подошвы истрепанных туфель с высокими, наполовину стертými каблуками, вздрагивал спиной и утробно икал. Грязные, засаленные сосульки длинных волос разъехались на тонкой, выжатой шее, и между ними синели буквы татуировки. Степан наклонился, откинул волосы. На бледной шее, с глубоким, как у мальчишки, желобком посредине и свежей красной царапиной, было выколото: «Привет парикмахеру».

– Слушай, ты, клиент, живой? – Степан тронул его за плечо.

– Пошел... – Парень сплюнул кровь и снова стал икать, спина вздрагивала.

– Дойдешь до дому?

– Пошел... – повторил парень и, упираясь локтями, подполз к воде, опустил в нее разбитое, измазанное в крови лицо. Потом поднялся на колени и осторожно стал умываться.

«Дойдет, – успокоился Степан. – Битый, видать». И оставил парня в покое.

Бородулина на берегу уже не было.

Станный он был, Виктор Трофимович Бородулин, сосед Степана. Появлялся всегда внезапно, неизвестно откуда, больше молчал, скрывая глаза узким прищуром, и так же незаметно исчезал, как и появлялся. На лице Бородулина всю жизнь горели багровые лишайи, руки и шея тоже были испятнаны ими, за что и кликали его заглазно Паршой. При редких встречах Степан часто ловил на себе его быстрые взгляды и передергивал плечами: Бородулин смотрел так, словно прицеливался, с какого боку лучше ударить.

По тропинке Степан стал подниматься к ветлам. Как только он поднялся и оказался среди свежей, пуховой зелени, как только сомкнулись за его спиной налитые соком ветки, так он сразу забыл о своей поездке в райцентр и о драке на берегу, словно вошел в родной дом и крепко прихлопнул за собой двери, оставив снаружи все лишнее и ненужное. Невидная глазу, но по голосу можно было определить – где-то совсем рядом, кукушка по-весеннему бойко отсчитывала года, и ее сильный голос долгим эхом отдавался среди коряжистых ветел.

Степан наугад шел между кустами, потому что той тропинки, которую он знал и помнил с детства, давно уже не было, она заросла и затерялась. Но какое-то чутье вело его, он ему подчинялся и не старался угадывать, шел, твердо зная, что выйдет именно туда, куда нужно. Вышел он прямо к избушке бакенщика. Ветлы неожиданно расступились, и она забелела своими старыми стенами посреди травянистой поляны. Избушка была давно брошена, без хозяйского догляда пришла в запустение, крыша прогнулась, но многолетний, поблекший слой известки на стенах держался, и стены казались издали белыми. Степан подошел вплотную, и ему вдруг представилось: откроется дверь, висящая сейчас на одной ржавой петле, выйдет из нее, припадая на хроную ногу, бакенщик Филипыч, окинет зорким взглядом детву на поляне, глянет на вечернее небо и, если погода хорошая, недовольно буркнет:

– Давай, орлы, загружайся.

Ребятня мигом скатится в большую моторную лодку, и наступит долгожданный момент – плыть в ранних сумерках по реке и оставлять за собой загорающиеся бакена...

Степан провел рукой по глазам и как бы заново увидел сверкающий день, зелень, неподвижную в расплавленном, солнечном свете, бросил на траву пиджак, лег на него и опрокинулся глазами в высокое, бездонное небо. Но долго смотреть было нельзя – слезы выступали от неистового солнца. Зажмурился, и по лицу стремительно скользнула легкая тень. Следом раздался многоголосый жадный писк. Степан вскинулся. Под козырьком просевшей крыши было прилеплено ласточкино гнездо – серое глиняное сердечко с отверстием. Ласточка нервно подрагивала узорным хвостом и торопливо совала что-то в широко разинутые клювики с желтыми ободками на зевках. Писк на время ослабевал и снова набирал силу. Птенцы торопи-



лись, требовали, и ласточка, понимая их нетерпение, вздрагивала хвостом, стараясь как можно быстрее всунуть свою добычу и улететь за новой.

Не глазами – душой увидел Степан в этой картинке простой смысл: живи, корми своих птенцов, радуйся, что они растут, жди, когда встанут на окрепшее крыло и вылетят вместе с тобой в дальнюю дорогу. «Для чего жизнь? – самого себя спросил Степан, провожая взглядом ласточку. Она летела стремительно, невесомо, без всякого заметного усилия расчеркивала густой, теплый воздух острыми краешками своих крыльев. – Для чего? Для простого дела – жить, работать и радоваться. Вот и делай, Степан Васильевич, свое дело. А что? Дом построю, сына буду на ноги ставить. Проще простого. И вся радость в этом, другой, лучшей радости просто нет. Как я раньше этого не замечал? Дню можно радоваться, свету, ласточке вон радоваться можно».

Неожиданные мысли успокаивали, усыпляли, и малого сомнения не шевельнулось, верилось, все будет так, как задумано: дом, семья и тихая жизнь. А остальное... А перед всем остальным просто-напросто захлопнуть дверь. Степан прижмурился и блаженной, свободней вытянулся на пиджаке. Снова вспомнилась целая еще избушка, большая дощатая лодка, гул стационарного мотора, привинченного на болтах к днищу, рябь мазутной воды вокруг него, глухие, частые выхлопы, далеко разлетающиеся по тихой, вечерней реке, и огни бакенов, весело подмигивающие вслед. Все было так зримо. Он и впрямь заново переживал в этот раз в деревне свое детство. То и дело приходили воспоминания, были они узнаваемо-добрыми, горели тихо и ровно, теплым отсветом ложились на сегодняшнюю жизнь, и ее хотелось сохранить именно такой – без крика и без злобы.

Вернулась ласточка, во второй раз чиркнула по лицу тенью, и громкий писк обозначил конец ее полета. Степан лежал с закрытыми глазами, но все равно видел жадно распахнутые клювики с желтыми ободками и трепыхающийся от нетерпения хвост. Когда он открыл глаза, ласточки уже не было. Птенцы угомонились. И такая сладостная тишина, такой покой разливались вокруг, что хотелось придержать собственное дыхание.

«Интересно, ушел парень или все еще там? “Привет парикмахеру”! Надо же додуматься!»

Он смотрел на гнездо, дожидаясь ласточку, но в прежнее спокойствие сосущей змейкой вползала тревога, такая знакомая...

## Глава третья

### 1

Жаркие березовые дрова, заготовленные еще прошлой осенью и высохшие до стеклянного звона, прогорели быстро. Угли подернулись серым пепельным налетом, круглый бок железной печки, раскаленный до малинового цвета, остыл, потускнел, отодвинулся в темноту и скоро в ней совсем растворился. Мороз придавил низкую деревянную избушку и полез во все щели.

К утру избушка выстыла.

Еще во сне почувял Степан, как холод подбирается к телу и цепко прихватывает кожу; стараясь удержать ускользящее тепло, он плотнее поджимал к животу колени, крепче обнимал плечи руками. Ему снилось, что он дома, в чистой постели, а холодно потому, что сползло одеяло. Надо нашарить его рукой, натянуть на себя, перевернуться на другой бок, прижаться к теплой и мягкой спине Лизы так, чтобы разом ощутить все ее крупное, расслабленное сном тело.

Он натянул на себя старый тяжелый тулуп, протянул руку, чтобы положить ее на покатое и мягкое плечо жены, но ладонь уперлась в нахолодавшее бревно избушки. Степан вздрогнул и проснулся. Над его головой, скрывая многолетнюю грязь и копоть в пазах, ярко белел густой иней. Тонкой серебристой полоской иней опоясывал и низкую дверь с проволоочной петлей вместо ручки. За маленьким и подслеповатым, как в бане, окошком синело.

Степан лежал под тулупом, поджимал к животу колени, ежился от холода, вспоминал свое желание, пришедшее к нему во сне, смущенно улыбался, стыдился своей улыбки и ехидничал: «Ну, жук навозный, на сладкое потянуло...» Но ехидничать над самим собой было неинтересно. Мысли о жене мгновенно перескочили на сына, и руки сразу затосковали о нежном, пахнущем молоком тельце, о глубоких складках на толстых, пока еще кривоватых ножонках. Сам того не замечая, Степан вытянул губы, словно собирался прижать их к тонкой розовой коже парнишки, под которой просвечивает каждая голубая жилка.

«Ну, брат, совсем ошалел. Придержи коней, под Новый год дома будем...» Прикрыл глаза и увидел Шарику, накрытую высокими сугробами, узкие тропинки, пробитые к калиткам и колодцам, уютные прямые дымки из труб, в окнах домов – разноцветные отблески от елочных игрушек, а утром и вечером в синеватых потемках дружный скрип шагов на улице, звонкие на морозе голоса, нечаянный смех – все то, чего он, Степан, живущий сейчас один в избушке посреди безлюдной тайги, не видел и не слышал два с лишним месяца. Многое бы теперь отдал, чтобы оказаться дома, нахлестаться в бане березовым веником, смыть таежную грязь и пот, а потом чистому, легкому пройти босыми ногами по мягким половикам, увидеть хлопчущую по хозяйству Лизу, ползающего по дивану и пускающего пузыри Васю и, глядя на домашнее, родное, спеть, как он всегда пел в светлые минуты, такой вот куплет:

Лиза, Лиза, Лизавета,  
Я люблю тебя за это,  
И за это, и за то,  
Что красивое пальто.

Степан никогда не думал, что будет так сильно любить свою семью и свой дом. Иногда ему становилось даже неловко, что он, серьезный, взрослый мужик, распускает нежности, как девица. Хорошо было во сне, во сне он нежности не стеснялся.

Под дверью, почуяв, что хозяин проснулся, подала голос Подруга. Она повизгивала и царапалась в дверь. Степан рывком – вставать, так уж разом! – вскочил с лежанки и впустил собаку. Подруга, сибирская лайка, умными глазами оглядела избушку, словно хотела убедиться – все ли в порядке? Перемен не обнаружила и важно легла возле топчана, вытянув передние лапы и положив на них острую мордочку с черным и чутким носом. Собаку Степану достал Никифор Петрович, пообещав, что с ней он горя знать не будет. И точно. На охоте Подруге цены не было: толково шла и за соболем, и за белкой, а нынешней осенью, когда Степан провалился в припорошенную снегом полынью на таежной речке, она вытащила его за ружейный ремень. С тех пор он стал разговаривать с ней, словно с напарником. Временами даже казалось, что она понимает его, как человек. Каждое утро впускал ее в избушку, и каждый новый день начинался у них с разговора.

– Ну что, Подруга дней моих суровых, за жизнь толковать будем? – строго спросил Степан, присаживаясь на корточки возле железной печки и доставая из кармана спички.

Подруга вздернула острую мордочку и подала негромкий голос.

– Согласна, значит. Хороший ты кореш, Подруга. С тобой жить можно. Сон мне приснился, будто дома под боком у Лизаветы сплю. К чему бы? Не знаешь? А я знаю. Перед Новым годом дома будем, в Шарихе. Вот так!

Степан растопил печку, поставил на нее старый, черный снаружи чайник, такую же старую, черную кастрюлю, плотно набил их снегом. Вытряхнул из мешка десятка два пельменей – последний остаток от домашнего гостинца, который Лиза переслала с оказией на вертолете. Подумал и ссыпал их обратно. В следующий раз. А сегодня можно обойтись и чайком. Занимаясь обычными утренними делами, Степан не переставал говорить. Подруга внимательно его слушала, торчком поставив острые настороженные уши, и изредка подавала голос. За долгие дни, наполненные лишь одной работой, он уставал от молчания, и поэтому нравилось начинать новый день с разговора, со звука собственного голоса. Наговаривался на весь долгий день, до самого позднего вечера, когда усталость сводит тело, глаза сами собой слипаются, и остается одно-единственное желание – приткнуться на топчан и уснуть. Но это вечером, а сейчас еще утро, сейчас он попьет чайку, выйдет по рации на связь с начальством – пятница, святой день – встанет потом на лыжи и уйдет в тайгу, на свой участок, который за два долгих сезона стал для него таким же родным и близким, как дом. Он знал теперь каждый урем и каждую тропку, каждый изгиб таежной речушки, утонувшей в густых зарослях березняка и осинника, знал места удачливые и неудачливые для охоты, знал все звериное население на этом пространстве, и каждый раз, проходя по нему, как хозяин по своему подворью, ловил себя на мысли: здесь все свое, кровное.

– Эге! Думы думай, а дело делай. Ты что, Подруга, не чуешь? – Степан взглянул на часы и торопливо включил рацию – пора было выходить на связь. Среди треска и шума сразу различил скрипучий голос директора коопзверопромхоза Коптюгина:

– Карта-два! Карта-два! Как слышите? Берестов, уснул там?!

Коптюгин кричал громко и напористо. Степан сразу понял – сейчас последует приказание. И не ошибся.

– Берестов! Сегодня Пережогина встретишь. Понял? Как понял?

– Не нужен он мне! – Степан заорал так громко, что Подруга приподняла острую мордочку и насторожила уши. – Не нужен! Сам встречай!

– Берестов! Я сказал! Как понял?

Степан выключил рацию и хватил кулаком по грязному дощатому столу, напугав Подругу. Крутнулся и остановился посреди избушки, опустив руки.

Новость вышибла из привычного течения утра, впереди маячил нудный, бестолковый день, который надо было прожить со сцепленными зубами, как и всякий другой день, когда прилетал сюда Пережогин. Его прилеты, как ни ершился Степан, повторялись регулярно, и

всякий раз на участке стояла канонада, словно шли армейские учения. Пережогин, как будто жить ему оставалось считанные дни, хватал все, что можно схватить. Иногда он прилетал сюда со своим начальством, и дни эти были для Степана по-особенному тяжелыми – Пережогин командовал, как у себя на работе, – зло и напористо, а Степан – так себе, на подхвате. Иногда он ловил пережогинский взгляд и различал в нем немой вопрос, будто тот хотел спросить у бывшего кадра: «Ну а дальше?» И ждал ответа. Степан не сразу и понял, что он незаметно превращается в человека, который служит Пережогину. А когда понял – взбесился. Пошел ругаться к Коптюгину. Но тот лишь слушал, кивал и сетовал:

– Все я понимаю, Берестов, все понимаю, как та собака. Только сказать ничего не могу. На прикорме мы у него. Техника, стройматериалы... да что тебе толковать, не пацан, сам должен соображать!

Вот и весь сказ. А Пережогин сегодня летит снова и наверняка прихватит с собой Шныря, вертлявого мужичка непонятно какого возраста. Услышав в первый раз кличку, и мельком глянув на мужичка, на его прореженные зубы, коричневые от табака и чифира, на суетливые движения – руки, ноги, голова двигались отдельно, сами по себе – и на бегающие глазки, Степан сразу определил, что это за птица и из каких мест она залетела. В своей недавней бродячей жизни он их немало повидал, мужиков, состарившихся после двух-трех отсидок раньше времени, растерявших на северах и на нарах не только зубы, но и собственную фамилию и даже имя. Шнырь при Пережогине был как бы денщиком.

Подруга, глядя на хозяина, затревожилась. Она никак не могла понять: почему они нарушают заведенный порядок и не идут в тайгу, когда все ее собачье существо горит желанием бежать по следу, вынюхивать зверя и голосом, срывающимся от азарта, извещать об этом хозяина? Вертелась под ногами, крутила хвостом, повизгивала и несколько раз начинала призывно лаять, задирая острую мордочку с черным носом. Степан сначала не обращал на нее внимания, а когда она стала уж слишком надоедать, отпихнул ногой в сторону. Его все раздражало: и собака, и коптюгинский приказ, и брошенные дела, и прибытие незваного гостя. Подруга обиделась. Улеглась возле порога, положила мордочку на вытянутые лапы и закрыла глаза, всем своим видом показывая: не хочешь – и не надо, мне тоже заботы мало, вот легла, и буду лежать.

Ожидание вертолетного гула становилось тягостным. Пытаясь найти хоть какое-нибудь заделье, Степан взял топор и отправился колоть дрова. Березовые чурки разлетались со стеклянным, холодным звоном, поленья мягко хлопались в сугроб. За нехитрой работой Степан успокоился, а когда его прошиб первый, сладкий пот, он оставил топор и пошел в избушку. Через несколько минут вышел оттуда перепоясанный патронташем и с ружьем, легонько свистнул. Подруга пулей вылетела из конуры и заметалась вокруг хозяина. Поставив торчком уши, насторожив чуткую мордочку, натянутая как тоненькая струнка, она сейчас не принадлежала самой себе, а только охотничьему азарту, пронзившему ее до последней клеточки. Проскочив мелкий и низкорослый ельник, она выбежала на середину широкой белой поляны и замерла. Степан тоже прислушался. С восточной стороны накатывал гул вертолета, становился громче, явственней, а скоро и сам вертолет стал различим глазу, приближался и увеличивался в размерах. Курс держал на избушку. Степан выругался и стал поворачивать лыжи. Сзади, на край поляны, уже надвигалась тень вертолета, идущего на снижение, нарастал гул, и верхушки сосен качались от напора воздуха. Внезапно, пробивая гул двигателей и свист винтов, раздался глухой хлопок и сразу же, следом, резкий, будто ей прищемили ногу, визг Подруги. Степан оглянулся и заморгал глазами. Тонко, пронзительно взвизгивая, странно изогнувшись, откинув назад голову, Подруга лежала на снегу, сучила ногами и дергалась, пытаясь подняться. Приподнималась и падала. Снег под ней становился темным. Степан подбежал и увидел – из-под собачьей лопатки с пеной и свистом вылетает кровь. Испуганно озираясь, задирая голову вверх, на грохочущий вертолет, не понимая, что и как произошло, он подхватил собаку, проваливаясь в снег, вернулся к брошенным лыжам. Один глаз Подруги был как раз напротив его лица,

и в нем светились почти человеческая боль и недоумение, крупные слезы вызревали и скатывались к чуткому носу. Оказывается, собаки могут плакать. Руке, которой он поддерживал снизу Подругу, становилось теплее – это грела, понял он, собачья кровь. Теперь Степан уяснил: стреляли с вертолета. Но зачем? Глаз у Подруги терял влажный блеск и тускнел. Задние лапы сильно дернулись, еще и еще, уже слабее, и вдруг тело ее обмякло, обвисло и сразу потяжелело. Медленно дошло до Степана, что Подруги уже нет, она мертва, но он продолжал держать ее на руках, машинально передвигал ноги, толкал вперед широкие лыжи и шел к избушке, приближаясь к вертолетному железному гулу.

...Оскалив желтоватые, стиснутые клыки с зажатым в них ружейным ремнем, Подруга выгибала спину, упиралась всеми четырьмя лапами и тащила Степана из полыньи. Он угодил туда, когда переходил реку по первому и самому коварному снежку, который хитро припорошил опасные места. Ахнувшись, не успев даже крикнуть, лишь выкинул на лед ружье, к счастью, оно было в руках, а не висело за спиной. Правой вцепился в приклад, а левой, сдирая ногти, царапал шершавый, покрытый снегом лед и беззвучным криком молил: «Не отпусти, не отпусти!» Нестерпимо холодная вода сдавливала как обруч, обрывала дыхание, и сердце с соленым, пугающим привкусом колотилось аж в горле. Подруга не отпустила. Выбравшись из полыньи, Степан ничком прилег рядом с собакой, обнял ее обеими руками, зарылся лицом в холодную шерсть и замер. «Живой, живой...» – еле слышно повторил он сведенными от мороза губами.

Сейчас Подруга лежала у него на руках. Еще теплая, но уже неживая.

Степан вышел из ельника и увидел перед избушкой вертолет. Пережогин и Шнырь выкидывали на землю груз. Лопасты винта без остановки вращались, мешки и рюкзаки заносило мелкой снежной пылью. Дверь изнутри закрыли, вертолет заревел громче и нехотя стал отрываться от земли, подняв на поляне перед избушкой настоящую метель. Пережогин и Шнырь, прикрывая лица руками, отбежали в сторону и тут увидели выходящего из ельника Степана. Остановились, видно, соображали – что случилось? Вдруг Шнырь крутнул маленькой головкой, оглядываясь на Пережогина, и засуетился, задергал плечами, руками, словно они были у него на шарнирах. Не раздумывая, Степан определил – он. Он застрелил Подругу. Пережогин пятерней разодрал бороду с застывшими на ней льдинками, хрипло выругался:

– Мать твою за ногу! Вот балбес! «Лиса, лиса, сеф», – шепелявя, передразнил он Шныря. – Очки напяль на харю, если не видишь!

Степан положил Подругу у конуры, долго и неподвижно стоял, смотрел, и руки у него наливались тяжестью. Глаз Подруги полностью потускнел и стал затягиваться белесой пленкой.

– Ладно, Берестов, не убивайся, как баба. – Пережогин тронул его за плечо. – Деньги за собаку отдам. Сколько скажешь, столько и отдам.

– Я что, с твоими деньгами буду охотиться?

– Не психуй, скажу Коптюгину, он тебе затраты компенсирует.

– Ну чо ты, чо ты, Берестов, чо волну гонишь? – заторопился Шнырь, растягивая в винюватой улыбке тонкие, потрескавшиеся губы и показывая мелкие, редкие зубы. – Сказал сеф – ком... комписирует, значит, так и будет, без булды.

– Не гунди! – накаляясь, повысил голос Степан. – Шестерка, козел вонючий, ложкомойник!

Он знал, от каких слов взрываются, как патроны, люди, побывавшие в зоне, и ждал такого взрыва, протягивая руку к прикладу ружья. Но Шнырь лишь хихикнул, показал редкие зубы и снова задергался руками, плечами, быстро переступая с ноги на ногу.

– Ну чо ты, Берестов, чо лаешься? Я по-хорошему, по-мирному, ошибочка вышла.

Нет, Шнырь не взорвется, бесполезно подталкивать его к скандалу. Степан отвернулся, поддернул ремень ружья и пошел прочь от избушки. Он уходил в глубь тайги, дальше и дальше, по пухлому и белому снегу. Широкие лыжи, обитые лосиной, хорошо держали, почти не проваливались, и ход был равномерный, сноровистый. Владело сейчас Степаном одно-единствен-

ное желание – забраться в самую глушь и чащобу и там раствориться, исчезнуть, чтобы не возвращаться назад и не видеть ни Пережогина, ни Шныря. Вообще никого не видеть.

И вдруг остановился. А куда он бежит? Куда он сможет убежать? Убежать можно только так – уехать с этой земли, исчезнуть с нее. Но как он исчезнет, если свил здесь гнездо? Выдирать его и перевозить на другое место?

Степан перевел дыхание и дальше пошел медленно, словно в полусне. И в таком состоянии, похожем на полусон, наткнулся на скелет сохатого. Торчали из снега голые ребра. Вымоченные за лето дождями и обжаренные солнцем, ребра стали серыми, и по краям на них зазмеились узкие трещинки. Это был след одной из первых охот Пережогина с вертолета. Степан знал: если взять сейчас круто вправо, пройти с километр до распадка, то и там, в распадке, можно увидеть такие же кости, если их не занесло полностью снегом. Представилось, что он не на своем промысловом участке, а на огромном будущем кладбище, где появились только первые могилы. Они будут множиться и в конце концов покроют землю сплошным бугром, тоскливым и серым. А гости, наверное, уже выпили, поели, лежат в спальнях мешках, и Шнырь шепелявым голосом травит бесконечные байки.

Решение пришло неожиданно. Степан круто развернулся и по старой лыжне вернулся к избушке.

Он не ошибся. Своего обычая – отлеживаться в первый день – Пережогин и Шнырь не нарушили. Они лежали в спальниках и курили. Стояла на столе початая бутылка спирта, сковорода с разогретой тушенкой и маленький переносной магнитофон, включенный на полную катушку. Громкая, ором орущая музыка заполняла избушку до отказа, давила на уши. Степан снял патронташ, скинул куртку и молча прошел к столу. Пережогин предложил принять для сугреву, но он ему не ответил. Отодвинул в сторону початую бутылку спирта, рассеянно ткнул ложкой в теплую еще тушенку на сковороде и поморщился – еда не лезла в горло. В груди что-то отстало и растворилось. Раньше там было нечто осязаемое, цельное, что могло болеть, ныть, пугаться, но вот оно исчезло, и Степан окончательно решил, что задуманное – кровь из носу! – он выполнит.

Шнырь травил байки, Пережогин его слушал и похохатывал. К Степану они не вязались, видно, ждали, когда тот сам отойдет. Он к ним тоже не лез. Сидел, подперев лохматую голову тяжелыми кулаками, и угрюмо смотрел на грязную столешницу. А музыка, непонятная и чужая, придуманная за тридевять земель, продолжала орать и визжать в тесной избушке. Внезапно оборвалась, из магнитофона послышались треск и шорох, невнятный голос что-то неразборчиво пробурчал, и все стихло. Показалось, что даже легче стало дышать.

– Шнырь! – подал голос Пережогин. – Поменяй пластинку. Зеленую кассету поставь, пусть душа распрямится.

Шнырь вылез из спальника, подрагивая тощими плечами под тоненьким свитерком, поменял кассету, почесал реденькие засаленные волосы и выскочил из избушки, не забыв объяснить, что потребовалось по малой нужде. Степан глянул ему вслед и с нарастающей злостью представил: Шнырь не отойдет и трех шагов, раскорячится и будет пятнать притоптанный снег, ежась в тонком свитерке от мороза и снега. Ну что за люди – десять шагов лень сделать! И в своем поселке так же – вокруг домиков-бочек снег вечно в желтых разводах, а весной, когда оттает, запах вокруг стоит, как в вокзальном туалете. Единым днем люди живут, до запаха ли тут! Степан поугрюмел еще больше, крепче подпер голову кулаками. Его наполняла злость, и он боялся, что она вырвется раньше времени, тогда ему не выполнить задуманного, что пришлось в голову так просто и неожиданно.

Тишину, установившуюся в избушке, снова пререзала музыка. Загудела равномерно и тупо, то и дело разрываемая неожиданным звуком гитарной струны, похожим на полет пули. Бу-бу-бу, пи-и-у! Бу-бу-бу, пи-и-у! Степан вздрогнул. Опять эта металлическая, вбиваемая в уши музыка, впервые услышанная на теплоходе, когда они плыли с Лизой в Шариху. Потом

он не раз слышал ее во время наездов Пережогина, и она всегда его пугала, как пугает человека мощная, железная сила, с которой он сам совладать не может. Музыка продолжала стучать и стрелять. Степан закрыл глаза. Беспомощность перед железной силой он уже испытывал, переживал ее. В последний раз нынешней осенью, еще до снега, когда случайно оказался на берегу реки, откуда трассовики, разгрузив баржи, в авральном порядке вывозили трубы. Тяжелые, рычащие КрАЗы, отплевываясь черным и вонючим дымом от сгоревшей солярки, перемешивали колесами грязь в низине и делали большой крюк, огибая широкую ленту молодого кедрача. К обеду дорогу размочало до желтой жижи. Две тяжелые машины с длинными черными трубами на прицепах, оглашая округу утробным ревом, беспомощно дергались взад-вперед и, наконец, встали, тесно приткнувшись друг к другу. Шоферы вылезли на подножки, по-матерному ругались и боялись спуститься вниз – желтая жижа была выше колена, утонешь, и сапоги не вытащить. Стало ясно, что своим ходом машины не выберутся и что дорогу они закупорили, как бутылку пробкой. Пригнали «катерпиллер». Железная махина, выкрашенная в ярко-желтый цыплячий цвет, с широкими, блестящими гусеницами, которые продавливали землю и заставляли ее вздрагивать, остановилась недалеко от дороги, словно раздумывала – с какой стороны удобней подобраться к увязнувшим машинам. И тут, словно он вырос из-под земли, появился Пережогин. Глянул на машины, на размоченную дорогу, остервенело плюнул себе под ноги и ловким, развалистым шагом подошел к «катерпиллеру», одним махом вскинул по лесенке свое крупное тело в кабину.

Степан стоял в отдалении, и о чем у Пережогина был разговор с трактористом, он не слышал, но все, что происходило в кабине, видел отлично. Пережогин что-то кричал и резкими, короткими взмахами руки показывал на кедрач. Тракторист, молодой усатый парень, тоже что-то кричал и несогласно мотал головой. Тогда Пережогин распахнул дверцу и тем же резким, коротким взмахом руки показал вниз, на землю. Парень по-прежнему мотал головой, но Пережогин сгреб его за плечо ручищей и вытолкнул из кабины. Спрыгнув на землю, парень потерянно оглянулся и побрел, будто пришибленный, прочь. Желтая махина взревела, наискось пересекла непроезжую дорогу, перекрасила белые, блестящие гусеницы в серо-грязный цвет и вломилась, не сбавляя хода, в молодой кедрач. Еще не окрепшие деревца успевали только взмахнуть верхушками и тут же опрокидывались наземь, а тяжелые гусеницы размалывали их, разжувывали, щепили и пробивали в плотном теле кедрача огромную зияющую прореху. Время от времени «катерпиллер» останавливался, давал задний ход, еще раз утюжил уже пройденное расстояние и опять вламывался в живую плоть деревьев. Слышались треск и гул.

Тракторист, шоферы, все, кто оказался в эту минуту поблизости, молча, будто завороченные, смотрели, как топчется в кедраче воняющий и ревуший комок железа, выкрашенный в такой безобидный и даже приятный цвет. Прореха тянулась за ним дальше и дальше, похожая на дорогу в пустоту.

Дело было сделано скоро. «Катерпиллер» проутюжил просеку от начала до конца, снова выбрался к дороге, и из кабины, растопырив руки, тяжело спрыгнул красный, разгоряченный Пережогин. Глаза у него диковато поблескивали, как у пьяного, шальная улыбка чуть раздвигала растрепанную бороду и показывала крепкие плитки зубов – казалось, что Пережогин собирается кого-то укусить.

Он и на охоте, как заметил Степан, был точно таким же: с диковато-ошалелым посверком глаз и с неудержимым напором, ломающим всякие перегородки. Казалось, что он и жил в пьяном угаре, не просыпаясь и не трезвея.

Не давая никому опомниться, Пережогин снова цапнул тракториста за плечо, подтолкнул его к лесенке в кабину, а сам бросился разматывать трос. Размотал и потащил к машинам, проваливаясь в грязь чуть не по пояс. Шоферов будто сдуло с подножек, и они кинулись помогать начальнику. Тросы зацепили, «катерпиллер» рывкнул, и КрАЗы, придавленные грузом, задним ходом, один за другим, медленно стали выбираться из гиблой низины. Выбрались,

постояли, как минуту-другую стоят на распутье люди, круто взяли вправо и поползли сначала к пробитой просеке, а потом и по ней, окончательно разминая, смешивая с землей еще недавно стройные и веселые кедры.

К Пережогину подходили люди, что-то говорили ему, но он лишь отмахивался резкими движениями сильной, широкой руки, никого не слушал и отрывисто бросал:

– Я здесь хозяин! Ясно?! Я за все отвечаю! Головой! Я!

Он повторил это несколько раз, развернулся и, не оглядываясь, направился в поселок. Казалось, что земля прогибается под его знаменитыми яловыми сапогами с железными подковками на каблуках.

И еще...

...Прищулив глубоко посаженные глаза так, что остались узкие, будто прорезанные, щелки, сунув в рот кусок черной бороды, Пережогин подался вперед, положил на согнутую руку ложе старого карабина и замер, не мигая и, казалось, не дыша.

Лоси лежали в осиннике на краю лога. Едва заметный, сизый парок поднимался над ними, доходил до нижних веток и таял, безмолвно растворяясь в нахолодавшем воздухе. Вдруг один из лосей выпрямил шею и вскинул голову. Уши у него стояли торчком. Настороженно потянул морду вправо, и тут грохнул выстрел – стреляли издалика, с левого конца лога, и больше для испуга, чтобы выгнать лосей на поляну, на карабин Пережогина. Звери вскочили, мгновенно выросли и показались огромно большими. Это были две самки, одинаково стройные, поджарые, и матерый самец, тот самый, который первым учуял беду. В один прыжок вымахнул он из своего лежбища и рванул по поляне. Самки, держась друг друга, ноздря в ноздрю, кинулись следом, густо взметывая сыпучий снег. Не видя засады, самец стремительно выстился навстречу выстрелу. Мускулы на его широкой груди ходили, как машинные поршни. Густой белый след вился за ним.

Осторожно, чтобы не выказать себя раньше времени, Пережогин поднял карабин и плотно придавил приклад к плечу. Рука у него была твердая – мушка не шевелилась. Отрывистым шепотом бросил Степану:

– Все – мои...

Ударил карабин тягуче и звучно. Пустая гильза ткнулась Степану в колено и с шипением упала на снег. Поймав пулю, самец дернулся со всего маху вбок и тяжело ударился об землю, переваливаясь и задирая вверх негнувшиеся задние ноги. Самки шарахнулись от него вправо и влево. Выстрел. Лосиха справа подпрыгнула и обрушилась вниз. Выстрел. Лосиха слева перевалилась через голову и послушно легла.

– Ай-я-я! А-а-а! – крик шел изнутри, словно кричал полузадушенный. Пережогин перекидывал из руки в руку карабин, выпрямлялся во весь свой рост, оскаливался, и у него сдавленно вырывалось из горла: – Ай-я-я! А-а-а!

Бросил карабин на снег и, вскидывая ноги в унтах, проваливаясь, побежал, не переставая приглушенно кричать. Ухватил за рога самца, уже успевшего подплыть кровью, и вздернул ему голову. От резкого движения кровь из простреленной груди пошла сильнее и гуще, с глухим хлопанием. Подержав, бросил, в простреле хрюкнуло, и кровь засочилась медленней.

Притащили нарты. Пережогин выдернул из них топор и скомандовал:

– Подержи. Рога хочу взять на сувенир.

Степан думал, что он отшибет рога у основания, но Пережогин вырубал их вместе с куском черепа. Вскидывал топор с блестящим лезвием, хакал и с силой бросал вниз. Сталь со скрежетом врубалась в толстую лобную кость, крошила ее. Из пробитых дыр выбрызгивали серые комочки мозгов. После каждого удара в черенной ноздре лось надувался и лопался прозрачный пузырь. Когда он надувался, на нем успевали изогнуто отразиться деревья, небо и вскинутый над головой топор. На оскаленном лице Пережогина было все то же выражение



азартной радости. Он с хрустом выломал рога с кровавым куском черепа и высоко поднял их. Темно-бурые капли падали ему на бороду...

Был там Степан? Был. Видел? Видел. И молчал, как рыба, потому что приходилось видеть за годы работы на северах еще и не такое...

...В деревянном аэропорту, где приземлился вертолет, и где вся братва, завершившая полевой сезон, сразу же обосновалась в тесном буфетишке, пассажиров не было, и лишь ходила между обшарпанных, изрезанных скамеек молодая еще бабенка и стригла игривыми глазками. Ее сразу зазвали в буфетишко, усадили на пустой фанерный ящик из-под печенья и взялись наперебой угощать. Бабенка не отказывалась, пила лихо, и глаза ее быстро соловели. Незаметно она исчезла, а вместе с ней исчезли и несколько мужиков. Пьянка между тем двигалась своим ходом.

По нужде Степан выбрался из буфетишка и завернул за бревенчатый угол аэропорта. И вот тут он протрезвел. На драной, замасленной фуфайке, широко раскинув руки и ноги, будто ее раздернули, лежала та самая бабенка, которую еще недавно угощали мужики. Она всхлупывала и приставывала, выставив голые, развалившиеся на стороны груди. Чуть оплывший, белый живот вздрагивал, темный мысок под ним был взъерошен и стоял дыбарем. Меж ног у бабенки, вдавленная горлышком вовнутрь, покоилась большая бутылка из-под бормотухи. Трое мужиков, сваленные вином и работой, спали неподалеку. С нижней губы у бабенки стекала слюна, и подбородок был мокрым. Кожа на бедрах вздрагивала и густо покрывалась пупырышками.

Степан отшатнулся, будто его ударили в лоб, и вернулся в буфетишко.

Сейчас он сильно, до дрожи сжимал веки, и странная картина, в которой все перемешалось, проносилась перед ним. Ползут, змеисто извиваются черные, разодранные гусеницами колеи, вздрагивают и запрокидываются верхушки кедров, ревет желтый «катерпиллер»; сизый пороховой дымок струится из ружейного ствола, на полном бегу замирает сохатый и падает через голову на снег, раскорячивая ноги, торчат обдутые ветрами, вымоченные дождями серые ребра; собачий глаз, живой и блестящий, затягивается мутной, белесой пленкой; гниет по обочинам трассы как попало наваленный строевой лес; на берегу реки вразнобой торчат из песка трубы самых разных диаметров, словно стволы разбитых после боя орудий; лежит, раскинув ноги, и всхлупывает, пуская слюну на подбородок, раздавленная мужиками бабенка; бешено крутятся вертолетные лопасти, и из темного провала распаханной двери раздается выстрел. Или это вскрикивает гитарная струна, прорывая однообразно долбящую музыку звуком, похожим на полет пули – пи-и-у?! И гул, и треск, и лязг, и грохот – все цеплялось друг за друга, все бродило, пенилось, и ожидалось – вот-вот взорвется и улетит в тартарары.

Степан ошалело вскочил, выключил магнитофон и, медленно приходя в себя, долго осматривал избушку, словно никогда в ней не был и словно не мог сообразить – как он здесь оказался? Пережогин и Шнырь с удивлением уставились на него. Он молча оделся, вышел из избушки и, глубоко захватывая нахолодалый к вечеру воздух, отдышался.

Оглядевшись, подальше от избушки отнес Подругу, разгреб снег, топором отбивая руки, долго крошил мерзлую землю, кое-как вырубил неглубокую ямку, опустил туда застывшее, по-деревянному неподвижное тело собаки, завалил его твердыми комьями и засыпал снегом. Только что увиденная картина не давала покоя, в ушах еще звучала, не прекращаясь, долбящая музыка. Но если этот полусон-полуявь можно было прервать резким движением или усилием воли, то саму жизнь, настоящую и взаправдашнюю, не прервешь ни движением, ни желанием.

Уже в сумерках он вернулся в избушку, как можно небрежней спросил у Пережогина, когда за ними прилетит вертолет, и, получив ответ, что послезавтра перед обедом, без ужина улегся на своем топчане. Ночью не спал, лишь забывался на короткое время и сразу открывал глаза, подолгу глядел в потолок, на стены и замечал, как все гуще и шире пазы седеют от инея. Под утро неслышно поднялся, неслышно оделся, собрал рюкзак и вынес его на улицу, снова

вернулся в избушку. Осторожно, чтобы не клацнуло железо об железо, взял свое ружье и свою тозовку, взял пережогинский карабин, двустволку Шныря и тоже вынес их на улицу, не забыв плотно закрыть за собой дверь. Ни Шнырь, ни Пережогин ухода его не почуяли и не проснулись. Приспособив на себе рюкзак и оружие, прихватив еще пару своих запасных лыж, Степан двинулся в тайгу.

Было темно. На высоком, холодном небе истаивала бледная половинка луны, и гасли одна за другой, словно их по очереди выключали, блеклые к утру звезды. Шуршал под лыжами снег, и это был единственный звук, который раздавался в округе. Промерзлая тайга хранила глухое молчание. Степан шел легко. Когда уже совсем рассвело и оранжевый шар начал проклевываться в зыбком мареве, он добрался до самого дальнего угла своего участка. Днем проверял капканы, вечером развел костер, на скорую руку разогрел банку тушенки, вскипятил в котелке чаю и устроился ночевать на лапнике, навалив его на горячий еще пепел кострища. Утром, захватив с собой лишь один пережогинский карабин, он отправился к избушке.

На поляне, на той самой, где вчера застрелили Подругу, остановился, скинул с плеча карабин, оттянул тугой затвор и вогнал в тесное, темное отверстие ствола узкий, желтоватый патрон, оставив на холодной гильзе влажные следы теплых пальцев. Железо глухо, угрожающе клацнуло, и почудилось, что карабин сразу потяжелел, увесистей оттянул руку. Крепко удерживая его за цевье, Степан пристально оглядел поляну и недалеко от того места, на котором остановился, под тонким налетом пухлого снежка разглядел мутное, едва маячившее пятно. Там лежала вчера Подруга, и там текла из нее, впитываясь в снежную стылость, живая, теплая кровь. Постоял еще несколько минут и решительно повернул лыжи к избушке.

Шнырь сидел на корточках и набивал котелок снегом. Худые, будто обстроганные плечи вздрагивали под линялым, засаленным свитерком с дырками на локтях, из которых просвечивало голое тело. Спиной почуяв Степана, он испуганно, как на внезапный крик, обернулся и прикрыл котелок длинными, худыми руками. Маленькие, прищуренные глазки испуганно заметались, остановились на карабине, замерли и стали медленно, широко раскрываться. Не поднимаясь, сидя по-прежнему на корточках, прикрывая ладонями котелок, Шнырь глядел снизу вверх и все подавал, подавал назад вздрагивающие плечи, словно собирался упасть на спину и по-собачьи задрать вверх ноги.

Степан скинул лыжи, подошел к чурке, на которой колот дрова, смахнул с нее снежок, открыв шершавый, густо избитый топором срез, и прочно, удобно сел. Шнырь широко открытыми глазами смотрел на него и все отводил назад плечи.

– Да ты не дрыгайся, – успокоил его Степан. – Не дрыгайся. Пережогина позови.

Шнырь выпрямился, обеими руками подхватил котелок, плотно набитый снегом, и попятился, не сводя со Степана глаз, к двери избушки. Уперся, толкнул худым задом и словно провалился в полутемном проеме.

– Сеф, слышь, сеф, пришел... – Дальше зашептал так отрывисто и быстро, что слов нельзя было разобрать.

– Да? А бутерброда он с хреном не пробовал? – Хриплый, видно, спросонья, жесткий и сильный голос Пережогина донесся внятно и громко. В избушке что-то упало и зазвякало, и скоро в полутемном проеме двери, как в раме, нарисовался Пережогин. Рама для него была явно мала, и он угнул голову, тяжело уперся ручищами в серые, потрескавшиеся косяки, словно хотел поднатужиться и вынести их наружу. Помятое лицо с припухлыми красноватыми глазами и черной разлохмаченной бородой было злым и недоуменным, каким оно бывает у человека, которого неожиданно и некстати оторвали от сладкого сна. Пережогин нагнулся, в пригоршню, как лопатой, ухватил снега, яростно, со всхлипом растер его на лице, по-конски всхрапнул и другой ладонью смахнул капли, а вместе с ними и всю заспанность. Припухлые глаза разом прояснили и приняли обычное выражение – холодное и жесткое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.